

# ИЗ ГЛУБИНЫ

КНИГА ВТОРАЯ



ГРИГОРИЙ ПАВЛЕНКО

Григорий Павленко

**Из глубины том 2**

«Автор»

2026

## **Павленко Г.**

Из глубины том 2 / Г. Павленко — «Автор», 2026

Февраль 1917.Германии нет. От Соммы вернулся один из ста. На путях Канала пропадают торговые суда — без боя, без следов.Адмирал фон Эссен уже в море. Балтика за кормой пустая, немецкое побережье — пустое, и в Каттегате он встретит себя.Адмирал Джеллико подписывает приказ о расширении специализированной службы — каторжане, иноязычные, душевнобольные. Подписывает, зная, кому отдаёт.Адмирал Битти ищет цель, которой нет, и впервые понимает, что атаковать некого.Соединённый флот выйдет к Каналу.«Пастырь души моей не оставит меня в нужде». Они узнают, чего стоит этот стих.

© Павленко Г., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Интерлюдия. Холкомб	5
Глава 14. «Депеша Николаю»	11
Интерлюдия. «Карлскруна»	25
Глава 15. «Приказ, Петроград, прощание»	29
Интерлюдия. Робертс	61
Глава 16. «Конвойный кризис»	65
Конец ознакомительного фрагмента.	77

# Григорий Павленко

## Из глубины том 2

### Интерлюдия. Холкомб

*Январь 1917 года, середина. Восточный Хэмшир, посёлок в десяти милях севернее Портсмута.*

До фермы Стивенсонов четыре мили. Холкомб проехал три с половиной — у изгороди ждал констебль Кэррик. Без шинели, в одной форменной куртке, красный от мороза. Велосипед лежал на боку у канавы, педаль ушла в иней.

— Сэр.

— Кэррик.

— Я не входил.

— Вы это уже сказали Эйсбриджу по телефону.

— Я повторяю.

Холкомб слез с велосипеда, прислонил к столбу. Достал блокнот, два карандаша. Один в руку, второй за ухо. Камеру на треноге оставил у изгороди, не разворачивая. Сначала посмотреть.

Кэррик стоял.

— Сколько служите?

— Восемь месяцев, сэр.

— Жена?

— Энн. С октября.

— Дети?

— Нет, сэр.

— Ждёте?

— Энн считает — да.

Холкомб кивнул. Высморкался в платок: катар у него с осени не отступал, сморкался по обязанности, не по привычке.

— Идите за мной до двери. Внутри не входите.

— Сэр.

Дом серый, оштукатуренный, черепица в подтёках сажи. Северная стена обвита сухим хмелем — Стивенсон жену за такое отчитал бы, не отчитал. Стало быть, не успел. Дверь не заперта, не плотно закрыта и не распахнута — приоткрыта на ширину ладони. На пороге свежий комок мокрого снега. Кто-то выходил ночью.

Холкомб толкнул дверь плечом, перчатки не снимал.

В сенях пальто Стивенсона на крюке, синий флотский бушлат с номером «А» на воротнике. Сапоги внизу. Один наклонился вперёд, будто его поставили торопливо. У стены лопата, сухая земля на лезвии — та самая. На полу мука — не россыпью, тонким следом от кухни к двери, как от мокрого ведра. Холкомб провёл носком ботинка. Мука, точно. Кухонная.

Стивенсона он знал. Не близко. Три встречи. Первая в декабре, через четыре дня после того, как Стивенсон вернулся на ферму. Сосед Эдвардс прибежал, говорил: Стивенсон второй вечер сидит в поле под вечер, час, два, не шевелится. Холкомб приехал. Стивенсон стоял с лопатой, отвечал односложно. На вопрос «как корабль» сказал «корабля нет». На вопрос «как вы вернулись» промолчал. Лицо обыкновенное, чуть осунувшееся. Холкомб уехал. Записал в дневник одной строкой: «Стивенсон, возвращенец с „Audacious“. Молчит. Беспокойства не

вызывает». Вторая встреча — у пивной в начале января, кивнули. Третья — позавчера, на просёлке, мимоходом.

Кухня — первая комната налево. Холкомб встал в дверях.

Сначала стол. Это и была вся комната, в первый момент: стол, скатерть, на скатерти что-то выложенное аккуратно, как для гостей. Потом печь. Бока тёплые: воздух у медной задвижки чуть дрожал. От печи тянуло сосновой щепой. Больше ничего. Окно. Стекло целое. Шторы задёрнуты. Лампа на полке не горит, фитиль на минимуме.

Потом стол снова.

На скатерти лежали три головы. Не в куче — пирамидкой: две снизу, одна сверху. Снизу побольше, сверху поменьше. Срезы у каждой ровные, как одним движением, и тёмные: их прижигали. Печь объясняла. Скатерть белая, кружевная по краю, не запачкана. Не капало.

Холкомб постоял в дверях. От печи всё тянуло сосновой щепой. Не пахло железом, не пахло мясом — ничем, что бывает на кухне, где трое лежат сутки. Перчатки на руках стали холодными изнутри. Холкомб переступил с ноги на ногу. Раз. Не заметил. Печь объясняла срезы. Запах не объяснял.

Жена Стивенсона. Мальчик. Девочка.

Холкомб узнал не сразу. Лица спокойные, как у спящих, и глаза закрыты у всех троих. У мёртвых глаза сами не закрываются. Кто-то закрыл. На лбу у каждой — символ. Один и тот же, выцарапан ногтями. Ноготь у мальчика обломан, обломок лежит у миски с яблоками. Холкомб отметил. Записал. Карандашом.

Символ — спираль в обратную сторону, с зацепкой посередине, заглубляющаяся в себя. Взгляд её плохо удерживал. Холкомб переписал в блокнот форму одной строкой: «спир. обр. с заглубл. зацеп., повтор трижды, идент.». Не зарисовывал. Карандаш держал твёрдо. Рука не дрожала.

Не у всех руки дрожат сразу.

В соседней комнате сидел Стивенсон. В кресле, у окна, лицом к окну. Между ног — охотничье ружьё деда, бельгийское, курковое. Ремнём через плечо. Затылка не было. Холкомб не подходил ближе двух шагов.

У правой ноги Стивенсона лежал лист, сложенный пополам и ещё раз. На внешней стороне — одна строка. Латинские буквы, не складывающиеся ни в одно слово известного языка. Холкомб посмотрел три секунды. Перевёл взгляд на оконную раму. Снова на строку. Снова на раму.

Записку не разворачивал.

Достал бумажный пакет — коричневый, толстый, казённый. Положил записку внутрь надписью вниз. Запечатал. Подписал на пакете дату, место, время: «14.I.1917 / Стонли / 09.40».

Камеру внёс не сам — позвал Кэррика. Кэррик внёс штатив и чемодан, поставил у двери кухни, не вошёл.

— На воздух. Подождите у изгороди. Если проедет почтальон Уитлок, отправьте обратно. Я не готов давать показания.

— Сэр.

Холкомб сделал четыре пластины, с четырёх углов, по часовой. Пятую крупно — на ближайший лоб, на символ. Лампу зажёл, подождал, пока пламя выровняется, выдержал пятнадцать секунд. Потушил.

В комнате Стивенсона снимать не стал. Записал словами:

*Возвращенец Артур Стивенсон, матрос с «Audacious». Застрелился из ружья. Положение — кресло у окна. Записка в пакете, не вскрыта. Поза не нарушена. Ружьё деда, бельгийское. Тело передать в Хэмпширский морг по согласованию с шерифом графства.*

Помедлил. Дописал:

*Знак на коже жертв, три повторения. Форма символа не соответствует известной геральдике, известной татуировке, военному значку или цеховому знаку. Передано фото в Скотланд-Ярд для идентификации.*

Закрыв блокнот. Сложил камеру. Вышел.

Кэррик стоял у изгороди. Снег пошёл мелкий, с северо-востока. Ложился на черепицу слева направо.

— Сэр, я видел. Что мне делать?

Холкомб посмотрел на него. На белое пятно на щеке, на синие губы, на чёрные руки в форменных перчатках.

— Идите домой, к Энн. Сядьте с ней у печки. Если она спросит — соврите, что нашли тело пьяного на тропе.

— Сэр.

— Через трое суток придёте ко мне в «Эльм-Лодж», на Хай-стрит. Если не застрелитесь.

Кэррик молчал.

— Я не шучу, Кэррик. Через трое суток. Раньше не приходите, позже тоже. И до этого не смотрите подолгу ни на одну стену, ни на одно окно. Если что-то покажется, что вы видите, — не зарисовывайте.

— Я не рисую, сэр.

— Не начинайте.

Кэррик надел шинель, сел на велосипед, поехал. Холкомб стоял у изгороди, пока его не скрыл поворот. Завернул камеру в брезент, привязал к багажнику, сел сам. Поехал не к Стонли, а к Эйсбриджу — в окружной полицейский участок. Оттуда казённый телеграф шёл в Лондон без задержки.

Телеграмму отправил в две строки.

На полпути встретил шерифа графства, верхом. Старик без двух пальцев на левой руке. В кухню сам не полезет — будет ждать гробовщиков у изгороди. Холкомб сказал:

— Трое в кухне. Стивенсон сам, в соседней. Гробовщиков из Портсмута. До них внутрь никого.

Шериф кивнул. Поехал к Стивенсонам один.

\* \* \*

Пансион «Эльм-Лодж» Холкомб занимал семнадцатый год. Хозяйка миссис Форрест, вдова пастора Хэмблтонской церкви. Дочь хромая, разговаривала редко. Холкомб занимал две комнаты на втором этаже — спальню и кабинет. На каминной полке три фотографии матери. Мать умерла в августе. Жены не было.

К ужину спустился. Поел: баранина с тушёным луком, картошка, хлеб. Чая две чашки, индийский, без молока. Миссис Форрест спросила, как день. Холкомб ответил: тяжёлый. Миссис Форрест больше не спрашивала.

После ужина поднялся в кабинет. Зажёг лампу. Сел.

Открыл служебный дневник — тридцать первый по счёту, в чёрном клеёнчатом переплёте. Записал день. Кратко: ферма Стивенсонов, девять-сорок утра, четыре пластины, пятая крупно, тело Стивенсона, записка, шериф уведомлён, тела в морг, рапорт в Лондон.

Перевернул страницу.

На обороте лежала квитанция за бензин. Холкомб взял её левой. Карандаш правой. Зарисовал по памяти знак. Получилось ровно.

Посмотрел.

Через полминуты зарисовал ещё раз — рядом, тем же карандашом, не сверяясь с первым. Получилось ровно так же.

Отметил в дневнике одной строкой:  
*Зарисовал из памяти дважды. Идентичны.*

Подчеркнул «идентичны». Через несколько секунд подчеркнул ещё раз — той же чертой, поверх. Получилось толсто.

Закрыв дневник. Лампу не погасил. Подошёл к окну. Снег шёл уже густо, в свете фонаря у соседнего дома косо. Под фонарём прошёл человек. Кто — не разглядел. Шаги не Кэррика. Чьи — не разобрал.

Лёг не раздеваясь. Долго не засыпал.

\* \* \*

Утром купил газеты — все, какие давал почтмейстер: «Таймс», «Дейли Мейл», «Морнинг Пост», «Хэмпшир Телеграф», вчерашний «Портсмут Ивнинг Ньюс». Принёс в кабинет, разложил на столе, налил кофе.

К половине одиннадцатого знал.

Манчестер: три заметки на третьих полосах. Три посёлка в окрестных приходах, в каждом — семья, отец вернулся с моря, убил жену и детей, застрелился. Заметки осторожные, без подробностей. Про знаки в «Таймс» ни слова, в «Дейли Мейл» полусловом — «необъяснимые ритуальные действия», в «Хэмпшир Телеграф» словом — «ирландские письма», ошибочно. Ланкашир — деревня под Болтоном, та же история. Кент — два посёлка. Девон — один, в Эксмуте, заметка двухнедельной давности, перепечатана.

Манчестер. Ланкашир. Кент. Девон. Теперь и Хэмпшир.

Это не одиночки.

Холкомб сложил газеты в стопку. Пошёл к камину, не положил, вернулся, оставил на столе. Сел. Достал бумагу. Начал рапорт в Скотланд-Ярд.

Писал четыре часа. Двадцать одна страница. На пятой обнаружил рисунок.

Не сразу. Сначала заметил, что почерк начал кривиться — строки шли вниз, к правому краю, на пятой строке снизу вниз сильно. Холкомб поднял голову, размял правую руку. Опустил глаза. Между четырнадцатой и пятнадцатой строкой, в полях, стоял знак. Один раз. Спирали в обратную сторону, с заглубляющейся зацепкой. Не его рукой — то есть его, но он этого жеста не помнил.

Посмотрел долго. Вырвал страницу.

Перечитал страницы первую-четвёртую с самого начала. На третьей в правом нижнем углу — чёрный кружок, мелкий, без формы. На второй — точка. На первой — ничего. Холкомб вырвал третью и вторую тоже. Первую оставил.

Начал заново. Дошёл до того же места, остановился — там, где почерк ушёл в поля. Не дал. Записал слово «знак», слово «не зарисовывать», обвёл рамкой. Продолжил.

К шести закончил. Двадцать одна страница плюс три вырванные.

Сложил рапорт в конверт, конверт в портфель, портфель в нижний ящик стола. Завтра до девяти в Эйсбридж, оттуда в Лондон ночным поездом, с пометкой «срочно».

Если будет завтра.

Эту мысль не записал. Записал только: *рапорт, 21 стр. Обнаружен непреднамеренный жест в полях. Изъято 3 стр. Переписано.*

Вечером пошёл в паб «Якорь». Заказал пиво. Держал пинту в правой руке, как обычно. Не пил. Через двадцать минут поставил, не отпив, положил на стойку шиллинг и шесть пенсов, ушёл. Бармен Райли ничего не сказал — у Райли с осени сын в Реймсе на лазаретной службе. Райли вообще нечасто говорил.

Дома Холкомба ждал Кэррик. Стоял у крыльца — в пяти шагах, в шинели, со снегом на плечах.

— Я сказал — через трое суток.

— Сэр, я только проведать.

— Кэррик. Идите. Домой. К Энн.

Кэррик не двинулся. Холкомб подошёл к окну своего кабинета — окно на первом этаже, миссис Форрест разрешила ему занять одну комнату внизу под бумаги. Открыл изнутри: с вечера створка стояла отворённой на палец. Голос наружу.

— Кэррик. Я в порядке. Идите домой. Ещё двое суток.

Кэррик услышал. Кивнул. Поправил воротник. Пошёл.

Холкомб закрыл створку.

\* \* \*

Шестнадцатого, в восемь утра, миссис Форрест внесла в кабинет поднос с чаем.

Кабинет аккуратный. Стол на месте. Лампа потушена. Бумаги сложены в стопку, придавлены пресс-папье. Дневник раскрыт. Стул отодвинут от стола на ширину ладони, как Холкомб всегда отодвигал, вставая.

На крюке для шляпы у двери висел Холкомб. Ремень шёл от крюка вверх к потолочной балке. Петля не из ремня — из шёлкового галстука, чёрного, того, что Холкомб купил в прошлом сентябре на похороны матери. Лицо серое, спокойное. Глаза закрыты. Руки висели вдоль тела. Один ботинок с ноги — слетел при опускании, лежал у плинтуса. Второй держался.

Миссис Форрест поднос не уронила. Поставила на стол без стука, обогнув висящего, не задев. Села в кресло у окна. Посидела минуту. Встала, пошла за дочерью. Дочь умела звонить по телефону: Холкомб научил её в прошлом году, специально на этот случай.

Кэррик пришёл через двадцать минут. Не задрожал, не вскрикнул. Снял фуражку у двери, как заходил всегда. Кивнул миссис Форрест. Прошёл в кабинет, подошёл к столу, не к телу. Раскрытый дневник перевёл к свету.

На последней странице — знак. Не один. Двенадцать раз подряд, по нисходящей, в столбик: первый крупный, как в полях черновика, второй поменьше, пятый с ноготь, восьмой с горошину, одиннадцатый едва различим, двенадцатый — точка, аккуратная, обведённая в кружок диаметром в полмиллиметра.

Кэррик закрыл дневник. Положил на сторону Холкомба, как нашёл.

Снял Холкомба с крюка. Один.

\* \* \*

Рапорт ушёл в Скотланд-Ярд по той же почте, что и официальное уведомление о смерти инспектора.

Пакет с запиской и пять пластинок — отдельным курьером.

Рапорт прочитали двое.

Детектив-сержант Стивен Ривс, тридцать четыре года, женат, двое сыновей. Прочитал в пятницу девятнадцатого января. Ушёл с работы в обычное время. Во вторник утром инспектор Драммонд нашёл его в кабинете на набережной Виктории, в кресле, с табельным «Уэбли» на колене и одной пулей в виске. Окно приоткрыто, занавеска задёрнута. На столе двадцать одна страница рапорта, прижатая чернильницей. Поля рапорта чистые. На отдельном листе у локтя — точка карандашом в правом нижнем углу.

Инспектор Уильям Пирс, сорок пять лет, бездетен. Прочитал в субботу двадцатого. В понедельник подал заявление об отставке. В среду нашёл в «Таймс» объявление о молочной ферме в Йоркшире, под Хелмсли, четыре акра, корова, две лошади. Уехал в четверг. Не возвра-

щался в Лондон, не женился. Когда умер в тридцать втором, в архиве ярда нашли его последний рапорт — оборванный на полуслове, без подписи.

Фотографии Стивенсонов, рапорт, дневник, нераспечатанная записка ушли в закрытый архив контрразведки.

Один комплект пластин — четыре общих кадра, один крупно — отправили в первую неделю февраля в Адмиралтейство, в кабинет директора Морской разведки. Контр-адмирал Холл получил его в среду, после полудня, нераспакованным. Поставил на угол стола, поверх февральской сводки капитана Хардкастла. Распаковал на следующее утро.

В Хэмпшире констебль Кэррик отслужил положенные двое суток. В пятницу пришёл в «Эльм-Лодж» в назначенный час. Никто его не ждал. Постоял у крыльца, как стоял в среду. Ушёл. До конца января служил без замечаний. В начале февраля подал прошение о переводе в пехотный батальон, на пополнение во Фландрию. Прошение удовлетворили. Энн родила сына в июле. Имя сыну дала Эдвард — в честь инспектора, у которого её муж служил последние месяцы перед фронтом.

В соседней деревне, в трёх милях севернее Стонли, миссис Агнес Кэйзер в начале февраля написала кузине в Лондон одну фразу. Обтекаемо: поселковую почту вскрывали в Портсмуте, и она это знала. *В соседнем приходе в январе случилась беда. Газеты пишут уклончиво, и я не ищу подробностей, но прошу тебя, Гвен, передай Джонни — пусть бережёт себя в эту зиму больше обычного.*

Письмо дошло. Гвендолин Джеллико прочла его за столом в Admiralty Arch, утром, мужу за чаем. Джеллико кивнул. Положил руку на её руку. Не ответил отдельной строкой — ответил общим письмом две недели спустя: про детей, про погоду, про чай. Про Стонли — ни слова.

Газеты к концу февраля писали о других делах.

Снег в Хэмпшире стоял до середины марта.

## Глава 14. «Депеша Николаю»

*Первая неделя февраля 1917 года. Лондон, Адмиралтейская арка.*

В первый понедельник февраля Джеллико пришёл в кабинет в семь сорок две — проверил по часам у Эллиота, когда снимал шинель, — и до восьми двадцати никого не принял. Так было заведено с возвращения из Скапы: с тридцать первого января, с того поезда из Терсо, с двадцати восьми часов в купе при опущенных шторах и с Каули, который сидел напротив с манометром на коленях и считал по пульсу, сколько ещё. К восьми утра в Лондоне у Джеллико держалось то слабое равновесие между правым лёгким и левым, в котором лежала пуля, — равновесие, позволявшее работать стоя. К десяти стоять было уже трудно. К полудню он сел. Так шла зима.

Кабинет в Адмиралтейской арке был тёмн по углам и светел только у окна — свет шёл из-за парка, серый, февральский, как стоял с октября. Стол стоял на старом месте: чернильница, перо, лампа, пресс-папье, малая папка слева, большая папка справа. От лампы шёл лёгкий запах керосина, по углам — угольная гарь от плохо горевшего камина. Газета лежала отдельно — «Таймс», свежая, ещё не разрезанная. У одного угла Эллиот всегда отгибал кусок в дюйм, чтобы сразу видеть третью полосу. Эллиот это делал по своей привычке, не по приказу. Джеллико этой привычки не отменял.

На третьей полосе стоял заголовок: «**Железный адмирал держит линию**». Над ним — чёрно-белая фотография, ракурс снизу, силуэт в фуражке у поручня «Iron Duke». Дата снимка — конец ноября, видно по гранёному погону: лишних нашивок на нём ещё не было.

Джеллико перелистнул газету лицом вниз. Положил под папку. Взял большую папку справа.

В правом ящике стола, который он не открывал, лежали пять кожаных томов в немецком переплёте.

Кашлянул в платок. Платок убрал в нагрудный карман.

— Эллиот.

Эллиот уже был у двери — он входил не на голос, а раньше голоса, за десять лет научился. В руках — две папки. Одна — обычная, в синем коленкоре, штабная. Вторая — серая, грубой бумаги, без штампа: только надпись от руки, простым карандашом, по верхнему краю — «Хардкасл, 4 февраля».

— Капитан Хардкасл просит четверть часа, сэр Джон. С восьми сорока.

— Пусть войдёт.

Эллиот положил папки. Серую — справа, штабную — слева. Вышел.

Джеллико раскрыл серую.

В ней лежало восемь листов, бумага плотная, машинопись через два интервала, разлинованная по графам. Первая страница — сводная: число судов, тоннаж, недели. Дальше — детализация. Хардкасл всегда делил по неделям: с понедельника по воскресенье, по британскому календарю, без скидок на праздники.

С четвёртого декабря по тридцатое января — восемь недель.

Восемьдесят семь судов.

Тоннаж — четыреста двадцать одна тысяча шестьсот тридцать. Не пик — пик впереди, по выкладкам Даффа. Дафф давал прогноз на февраль четыреста пятьдесят, на март — пятьсот, на апрель — восемьсот плюс. Дафф пока ни разу не ошибся в большую сторону. Иногда ошибался в меньшую.

Джеллико перевернул страницу. Левый глаз, под повязкой, оставался тёмн. Правый шёл по столбцам без задержки. Долго на цифрах не задерживался — помнил их. Цифры держал в голове со Скапы, обновлял к каждому понедельнику, сверял с Хардкастлом устно. В сводке

смотрел не цифры, а **раскладку** — то, что Дафф называл «причины», и что у Хардкасла теперь шло пятью графами вместо одной.

Раньше — графа была одна: **«утрата от военных причин»**. Подразумевала торпеду, мину, артиллерийский огонь. Эта графа в декабре закрылась.

Сейчас — пять.

Первая: **«Не вернулись из рейса. Тел и обломков нет.»** — в декабре два, в январе семь, к концу января одиннадцать. Первая неделя февраля по предварительной — три. Корабль уходит из порта, не приходит в порт. Между портами — открытое море, и больше ничего.

Вторая: **«Найдены дрейфующими, экипаж отсутствует или мёртв.»** — в декабре один (норвежский угольщик у Доггер-банка, разделка норвежская, экипажа нет, шлюпки на местах), в январе четыре. Один из четырёх — британский, «Святой Олаф», порт Ливерпуль, сорок две души. Найден в северном квадрате восемнадцатого января, дрейфовал шесть суток без огней. **На палубе и в кубриках — тела с давностью семь-восемь суток.** В трюмах — рыбу не нашли, она там быть не должна, но в одном из носовых кубриков — **по протоколу береговой полиции Ярмута** — обнаружен порядок, который полиция в рапорте описала тремя словами: «как при обряде». Подробностей в сводке Хардкасла не было — они были отдельным листом у Холла. Джеллико это знал.

Третья: **«Прыжки экипажа за борт без боевой обстановки.»** — в декабре одно судно, тридцать два за бортом ночью, корабль найден утром на ходу, на машинном — никого, штурвал заклинен. В январе — два. Хардкасл подчёркивал, что это **подтверждённые** случаи: то есть те, где есть свидетели с других судов или последний радиосигнал. Неподтверждённых — он не считал. У Холла была своя оценка. Она была втрое выше.

Четвёртая: **«Расхождение по эфиру. Сигналы от собственных судов с ложных координат.»** — самая молодая графа, Хардкасл открыл её только во второй неделе января, после двух случаев. Конвой уходил на координаты «своих» и за это время терял другое судно из охраны. Двойника-передатчика так и не нашли — ни в одном случае. Радиоспециалисты Room 40 утверждали, что сигнал шёл по штатной длинной волне, ключ был свежий, опознавание — точное. Разницу чувствовал только опытный телеграфист, и то не каждый. Сейчас в графе — три случая. Сводно по тоннажу — около семи тысяч.

Пятая: **«Удар снизу.»** — две строки. Одна — у Гебридов, дата подтверждённая. Вторая — у входа в Канал, дата приблизительная. Оба — без обломков, оба — без воды в подветренной части моря (не подлодочный признак), оба — корабль перекидывало изнутри. Хардкасл ставил под обеими строками одну и ту же сноску: «не подводная атака, причина не установлена».

Шестой графы не было.

Графа шестая, если бы её ввели, должна была называться: **«Прочее»**. Хардкасл её не вводил — держать «прочее» в общей сводке он полагал неуместным. Всё, что не укладывалось в первые пять, он давал отдельным листом под названием «вне сводки». Джеллико этот лист уже не запрашивал. Знал, что лист есть. Этого хватало.

Кашлянул второй раз.

В платке остался след — мелкая ржавчина по углу, не свежая, не алая, просто ржавчина. Каули предупреждал. Каули писал в свой блокнот по две строки в день с двадцать восьмого ноября. Сегодня — пятое февраля. Семьдесят дней. Сто сорок строк. Из них сто восемнадцать были про дыхание, остальное — про правую руку. Левый глаз Каули в блокнот не заносил, потому что левый глаз больше не менялся.

Дверь стукнула костяшкой. Эллиот.

— Капитан Хардкасл, сэр Джон.

— Просите.

Хардкасл вошёл с двумя папками — одна штатная, в коричневом коленкоре, обычного формата, вторая — узкая, серого картона, перевязана бечёвкой. Невысокий, сухой, с серым

лицом под лампой. Он всегда выглядел утомлённее, чем был — это была фамильная черта, не служебная. Эллиот закрыл дверь сзади.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Вы прибавили цифры по предварительной за первую неделю февраля.

— Да, сэр Джон. С обеих сторон Канала. Из Бордо передали через посольство по дипломатической линии. Французы свои потери считают вместе с нашими, потому что у них на побережье больше некому считать. Я согласовал графы с их атташе. Графы те же.

— Шестой нет.

— Шестой нет, сэр Джон.

— Хорошо.

Хардкасл стоял прямо. Не садился, ему не предлагали — он бы сел, если бы предложили, но Джеллико сидячий разговор у себя в кабинете не вёл со Скапы. Это входило в равновесие правого лёгкого.

— Капитан. Объясните мне четвёртую.

— Сэр Джон, объяснения не будет. Room 40 даёт три вероятности, ни одна не подтверждена.

— Назовите.

— Первая — техническая ошибка нашего собственного передатчика, дублирующего сигнал отражённой волной. Вероятность считают низкой: для отражения нужны определённые условия, которых в Северном море зимой не бывает.

— Вторая.

— Вторая — посторонний передатчик с нашими ключами. Кто-то знает наши длинные волны, опознавательные, шифр предвахтенной смены. Шифр меняется по графику, никто его пока не преломил, но допустимо, что преломили. Подозреваемого нет.

— Третья.

Хардкасл молчал три секунды. Потом — без интонации:

— Третья — то, у чего Room 40 названия не имеет. Они называют это в журнале «Источник Х», без описания. Капитан Холл предложил эту графу закрыть и не вести.

— Не закрывайте.

— Не закрою, сэр Джон.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Сколько времени, по вашей оценке, остаётся до того, как Канал станет непроходим для торгового флота?

Хардкасл не сдвинулся. Пауза длиннее третьей.

— Если темп январь-февраль удержится — четыре месяца, сэр Джон. Если темп Даффа на апрель оправдается — два с половиной.

— Капитан Дафф редко ошибается в большую сторону.

— Знаю, сэр Джон.

— Спасибо. Свободны.

— Сэр Джон.

Хардкасл козырнул правой — левая держала бечёвочную папку. На стол он её не положил, повернулся, унёс. Джеллико это отметил. Так было заведено с открытия четвёртой графы во второй неделе января: первая папка — ему, вторая — Холлу. Чтобы не пересечь линии.

Эллиот закрыл за Хардкасллом.

Джеллико остался один.

Посмотрел в окно. Серый свет февраля. В смежной комнате, за тонкой переборкой, Каули сидел в кресле, не курил — здесь курить было нельзя, — держал блокнот закрытым на колене,

ждал, пока его позовут или пока пройдут двадцать пять минут с последнего входа. Каули двадцать пять минут считал точно: после двадцати пяти Джеллико обязан был отойти от стола, пройти три шага к окну, постоять минуту, взять стакан воды. Так шло равновесие.

Джеллико от стола не отошёл.

Оставалось четырнадцать минут до того, как Каули постучит.

Джеллико раскрыл штабную папку. Положил пресс-папье на сводку Хардкасла, чтобы лист не закрылся. Серая папка лежала открытой рядом. В графе четвёртой — три случая. В графе второй — пять. В графе первой — двадцать один. Двадцать один корабль, который ушёл из порта и не пришёл в порт. Двадцать один экипаж — около пятисот душ — в воде, или **где-то ещё**.

Газета лежала под папкой лицом вниз. Заголовок третьей полосы Джеллико знал и не глядя — тот же, что в декабре, тот же, что в январе: «**Железный адмирал держит линию**». Под фотографией шли три колонки: первая — про балтийский флот русских, упоминание адмирала Эссена без подробностей. Вторая — про конвои в Средиземном море, без подробностей. Третья — про патрули у Гебридов, без подробностей. Сводки Хардкасла в газету не уходили. Они уходили в Военный Кабинет, по три экземпляра, и больше никуда.

Джеллико закрыл штабную папку. Серую папку Хардкасла оставил открытой.

В правом ящике стола лежали пять кожаных томов в немецком переплёте.

Он на ящик не смотрел. Не открывал его в эти шестьдесят дней ни разу.

Над парком стоял туман. Ровный, без разрывов.

\* \* \*

Каули постучал через двадцать пять минут — короткий двойной щелчок. Джеллико отошёл от стола, прошёл к окну, выпил воды, вернулся. Каули не входил, проверял.

В смежной снова стало тихо.

В девять ноль две Эллиот заглянул и сказал, что капитан Холл пришёл сам, без вызова. С пакетом.

— Просите, Эллиот.

Холл вошёл с одной папкой — не двумя. Хардкасл всегда с двумя, Холл — с одной. Папка была чёрная, кожаная, с медной застёжкой. В Адмиралтействе таких было только две, и обе принадлежали Холлу лично, не службе. Шинель он снимать в кабинете у Джеллико перестал ещё в декабре — не из неуважения, из практики: у него были встречи каждые сорок минут, шинель он не снимал нигде, кроме своего кабинета в старом здании Адмиралтейства. Лицо у Холла было то же, что и в Скапе, и в декабре, и в ноябре: узкое, с моргающими веками, сухое.

— Сэр Джон.

— Реджинальд.

Холл сел сам. У него была привычка садиться без приглашения — Джеллико эту привычку признавал, потому что Холл с пулей, полученной под Кронштадтом, стоял хуже, чем сидел. Стул у Холла был обычный, конторский, с прямой спинкой. Он его подтягивал к столу так, чтобы локтя левой руки не касаться подлокотника. Привычка, ему не подвластная. Джеллико остался у стола, опираясь правой рукой о пресс-папье.

— Я пришёл с обзором. За два с половиной месяца, с конца ноября по сегодняшний день. Я знаю, что вы видели каждую отдельную сводку. Я хотел свести всё в один лист.

— Давайте.

Холл расстегнул застёжку. От папки шёл сухой запах кожи и воска — её недавно полировали. Достал лист — один, плотной бумаги, машинопись, шесть колонок. Положил перед Джеллико. Папку оставил на коленях.

Джеллико взял лист.

В первой колонке стояли даты — недели с двадцать седьмого ноября по тридцать первое января. Девять недель.

Во второй: «**Audacious. Тела доставлены в береговые морги.**» Цифра по неделям нарастала: первая неделя — сто десять, вторая — сто восемьдесят, третья — двести двадцать, потом по убыванию, к шестой неделе — двенадцать, к восьмой — два. Сумма — семьсот девяносто шесть.

В третьей: «**Тела пропали из моргов.**» Цифры шли с отставанием в одну неделю и точно повторяли вторую колонку. Семьсот девяносто шесть. Не семьсот девяносто пять. Семьсот девяносто шесть.

В четвёртой: «**Полицейские рапорты о возвращении к семьям.**» Первая запись — третья неделя декабря, одна семья в Девоншире, отец вернулся с моря, сел за стол, не разговаривает. К концу декабря — семнадцать. К концу января — двести девяносто. Все — бывшие экипажа «Audacious», по сверке с судовой ролью. К концу января из этих двухсот девяноста — сорок восемь полицейских рапортов о смертях в семьях: жена, ребёнок, старик. В половине случаев — несколько в одном доме. Графы для этого Хардкасл не вёл, такие случаи Холл сводил отдельно — и этот лист Холл сегодня тоже принёс, в той же чёрной папке, под верхним.

В пятой: «**Полицейские рапорты о найме на торговые суда.**» Это была колонка, которую Джеллико раньше отдельным листом не видел. Первая запись — второе января. К тридцать первому января — сто девяносто шесть. Сто девяносто шесть бывших экипажа «Audacious» наняты на британские, норвежские, греческие, голландские торговые суда, выходящие из Ливерпуля, Бристоля, Кардиффа, Гамбера. По бумагам — живые матросы, кочегары, пекари, плотники. Бумаги принимали женщины, в портовых конторах с декабря не осталось мужчин для проверки лиц. Брали по расчётной книжке и печати.

В шестой колонке стояла одна цифра, без разбивки по неделям. Цифра была подчёркнута красным карандашом, не Холла — Хардкасла. Джеллико этот карандаш узнал.

#### 42.

Сорок два — это число судов, которые за восемь недель попали в любую из пяти граф Хардкасла. И на борту у каждого был хотя бы один «Audacious»-возвращенец. Из них двадцать одно — в первой и второй графах вместе (исчезновения и дрейфующие пустые), четыре в третьей (прыжки за борт), три в четвёртой (расхождение по эфиру), два в пятой (удар снизу), остальные — в «вне сводки» Хардкасла, отдельным листом, который Джеллико уже не запрашивал. На одном из двух судов пятой графы был ирландский кок. Его прежний корабль затонул вместе с «Audacious» в позапрошлом году. Сам кок был похоронен в общей могиле тогда же. Имя в расчётной книжке — то же. Печать «Audacious» — та же. Человек — другой.

Джеллико прочитал шесть колонок один раз.

Перечитал второй.

В груди под правой ключицей удар пропустил такт — впервые за утро. Семьсот девяносто шесть тел вышли из береговых моргов трёх портов за восемь недель. Полиция этих портов — ни одна. Адмиралтейство — ни одно. Военное министерство — ни одно. Двести девяносто из них пришли по домам, сорок восемь убили родню. Сто девяносто шесть нанялись на торговые. Никто не доложил наверх.

В левой ладони, сразу под указательным, мелкая дрожь — не сильнее обычного, та же. Он эту дрожь носил со Скапы.

— Реджинальд.

— Сэр Джон.

— Семьсот девяносто шесть. Береговая полиция. Морги. Восемь недель.

— Знаю, сэр Джон.

— Я мог не знать?

— Могли, сэр Джон. Я держал, пока не сложилось во что-то одно. Сегодня сложилось.

— Сложилось.

— Сложилось.

Джеллико кашлянул в платок. В платке остался след — тот же, ржавчина. Платок убрал.

— Колонка пятая.

— Да, сэр Джон.

— Они нанимаются сами, или их нанимают?

— Они приходят сами, сэр Джон. У них на руках бумаги. Расчётные книжки в порядке.

Печать «Audacious» — тоже в порядке, потому что они её не сдавали — корабль вернулся пустой, без бумажного оборота. Подпись офицера-кадровика портовой администрации — обычная, сличают по своей картотеке. Они сличаются.

— Они говорят что-нибудь?

— Минимум. Имена, разряд, последний рейс, готовность. На вопрос о «Audacious» отвечают, что их списали по болезни в Розайте в начале ноября, а теперь они здоровы и ищут работу. Полицейские проверяли — в Розайте есть журнал списанных по болезни в начале ноября. Журнал велся, в нём есть имена. Имена совпадают.

— Кем велся?

— Старшим береговым санитаром Розайтской базы. Он в декабре погиб на пути домой — переехала повозка, насмерть. Журнал лежал у него в столе.

Джеллико смотрел на лист.

— Реджинальд.

Холл ждал.

— Кто из тех, кого я представлял к награде в сентябре — есть в этой колонке?

Холл помолчал.

— Лейтенант Шеффилд, сэр Джон. Артиллерийский офицер «Audacious», вы его рекомендовали к кресту «За выдающуюся службу» двадцать второго сентября за гибралтарский конвой. На бумаге подпись ваша. Шеффилд вернулся в Дербишир к матери в начале декабря. Жил три недели. В третью неделю декабря на семейной ферме застрелил мать и четверых её родни. Соседи слышали, вошли, застрелили Шеффилда — до того, как он успел доделать. В полицию никто из соседей не пошёл. Полиция узнала на третий день, когда сельский священник, к которому ночью пришли двое из этих соседей, сам поехал в Дерби и доложил констеблю. Шесть тел в доме, доски пола в гостиной сожжены, угольный совок брошен на пороге. Двое соседей, которые стреляли, в полицию давать показания отказались. Священник дал показания за всех.

— Доделать?

— Доделать рисунок на полу, сэр Джон. Углем. Соседи доски выломали и сожгли в овине ещё до того, как пошли к священнику. Не оставили ни одного фрагмента — констебль приехал, было пусто. На допросе соседи говорить о том, что видели, отказались.

В кабинете было тихо.

В смежной за переборкой Каули сидел молча. Дрожь в левой ладони шла та же, не сильнее. Джеллико это держал. В груди, ниже правой ключицы, на полтакта пропустило вдох. Он этого не показал. Платок остался в кармане.

— Реджинальд.

— Сэр Джон.

— Фотографии у вас при себе?

— Да, сэр Джон. В этой папке, в закрытом конверте. Я их не показал.

— Почему?

— Потому что я хочу, чтобы вы остались командующим, сэр Джон.

Джеллико кивнул один раз.

Не сказал «спасибо». Не сказал «дайте». Не настаивал. Это было между ними с шестого ноября — Холл не выкладывал того, что выкладывать не следовало. Джеллико не запрашивал. Так шла третья колонка — она была у обоих, никто из них на неё не смотрел.

Холл перевернул лист обратной стороной к Джеллико. На обратной стороне ничего не было — пусто, белая бумага.

— Сэр Джон.

— Да.

— Это не имеет значения для войны.

— Знаю.

— Это имеет значение для нас.

— Знаю, Реджинальд.

Молчали полминуты. У Холла на левой кисти, под манжетой, был лейкопластырь — узкий, белый, свежий. Джеллико его раньше не видел. Холл руку под стол не убрал.

Раз кашлянул в платок. В платке остался след — тот же, ржавчина, не алая. Платок убрал.

В голове ничего не складывалось в фразу. Слова стояли отдельно: семьсот девяносто шесть, сто девяносто шесть, сорок два, Шеффилд, Дербишир, мать, шесть человек, рисунок. Между ними не было синтаксиса. Он попробовал собрать: получилось — *самоубийцы сначала умерли у меня на борту, потом пропали из моргов, теперь нанялись на корабли и ходят к матерям, и убивают шесть человек за один вечер, не успев доделать рисунок*. Это была фраза. Она держалась тяжело.

Он не записал её.

Не для дневника, не для рапорта. Никуда.

Холл сидел напротив. Не торопился.

— Реджинальд. Передайте Хардкаслу — в его четвёртой графе пометка должна остаться открытой. Я знаю, что Дафф предлагает закрыть.

— Передам, сэр Джон.

— И в третьей.

— В третьей тоже, сэр Джон.

— И вашу колонку пятую — мне на каждую неделю.

— Да, сэр Джон.

— Идите.

Холл встал. Подтянул чёрную папку под левую руку, медную застёжку защёлкнул правой. Лист с шестью колонками оставил на столе перед Джеллико.

В дверях — обернулся.

— Сэр Джон.

— Да.

— Шеффилд писал вам в октябре. Вы запомнили, я знаю. Я его письмо нашёл в столе у него в каюте «Audacious» в ноябре, сразу после возвращения корабля. Оно было запечатано и адресовано вам. Я его не открыл.

— Где оно?

— У меня в столе.

— Принесите в следующий раз.

— Да, сэр Джон.

Холл вышел.

Джеллико остался один за столом. Лист с шестью колонками лежал перед ним. Кабинет был тёмн по углам и светел только у окна. В левой ладони шла дрожь та же, не сильнее. В груди, ниже правой ключицы, удар пропустил такт второй раз за утро.

Над парком стоял туман.

Не было ни одной мысли, которую Джеллико довёл до конца.

\* \* \*

В одиннадцать сорок Эллиот принёс записку — серый конверт, без штампа, с пометкой «лично», по секретарской руке. Записка была от Хэнки.

*Премьер просит вас к двенадцати тридцати. Один. Без бумаг.*

Джеллико прочитал, кивнул. Эллиот стоял.

— Эллиот.

— Да, сэр Джон.

— Каули остаётся здесь. Я пойду пешком.

— Сэр Джон. До Даунинг-стрит полмили в эту погоду...

— Я пойду пешком.

— Хорошо.

Каули в смежной услышал, постучал и вошёл — короткий двойной шелчок, потом два шага.

— Сэр Джон. Я с вами.

— Доктор. Я иду пешком.

— Тогда я тоже пешком.

— Хорошо.

В двенадцать ноль две они вышли через Адмиралтейскую арку на Мэлл. Туман шёл низом, по щиколотку, не выше. Над парком стояла серая пелена. Каули нёс в руке адмиральский плащ, не предложил надеть, шёл слева, на полшага сзади. Шаги Джеллико были короткие, выверенные. Уайтхолл был полупуст: пара посыльных с папками, женщина в чёрном, одна машина на углу с потушенными фарами. Мужчин-прохожих не было, мужчины кончились в Лондоне с октября. На Хорс-Гардс-Парейд он остановился у фонарного столба на двадцать секунд — отдышаться. Каули за столбом доставал секундомер из жилета, считал, убирал.

В двенадцать двадцать восемь поднялись по ступеням дома десять по Даунинг-стрит. Швейцар у двери — тот же, что и в декабре, шесть лет на этом крыльце. Узнал. Открыл, не спросив.

В прихожей Хэнки ждал стоя. Маленький, плотный, с тяжёлыми бровями. Морскую форму носил по правилу, мундир ниже капитан-лейтенанта — в кабинете премьера это выглядело иначе, чем в Адмиралтействе. У Хэнки в руке была одна папка. Не своя — премьерская: синяя, с тиснёным гербом.

— Сэр Джон.

— Морис.

— Премьер один. Я выйду, как вы войдёте. Десять минут.

— Хорошо.

Каули сел на стул у двери. Открыл саквояж, не достал ничего, закрыл.

Хэнки открыл дверь в кабинет премьера. Произнёс по-английски тихо: «Адмирал Джеллико». Отступил. Джеллико вошёл.

Кабинет был светел. В отличие от его собственного — три окна, огонь в камине, ковёр глубокий, тёмно-зелёный, вытертый по углам и у двери, новый не клали с тринадцатого. На каминной полке — три миниатюрных портрета: жена, две дочери. На столе — три телефона, бумаги в небрежных стопках, часть разлетелась по столешнице. Премьерская расхлёстанность. Это было известно всем.

Ллойд Джордж стоял у окна, спиной. Седой, с длинными волосами не по моде — как у уэльсцев, развевающимися. Стёртая чёрная сюртучная пара, манжеты не свежие. Не обернулся, пока Хэнки не закрыл дверь.

— Адмирал.

— Премьер.

Ллойд Джордж обернулся. Лицо узкое, нос резкий, под глазами мешки на полпальца, не больше. Глаза — голубые, очень бодрые для двух часов сна. Премьер спал по два часа в сутки, восполнял в карете.

— Сядьте, адмирал. Бога ради. Вы стоите как часовой.

— Я постою, премьер.

Премьер посмотрел на него секунду. На правую сторону груди. Не сказал ничего.

— От русских?

— Ничего, премьер.

— Когда ушла депеша?

— Седьмого декабря, премьер.

— Два месяца.

— Два месяца.

— Адмирал. Сколько ждать?

— Сколько надо, премьер. Канал держим.

Ллойд Джордж поднял правую руку — не жест, движение, привычка оратора — и опустил, не доведя до груди. Ходил по ковру. Три шага в одну сторону, три — в другую. У камина остановился. Посмотрел в огонь.

— Адмирал. Кардифф. Ливерпуль. Бристоль. Двести девяносто.

— Знаю, премьер.

— Полицейские отчёты приходят ко мне лично, адмирал. Не через Министерство внутренних дел — там подобное закрывают неделями, передают в архивы под грифом «непрояснённое», и больше я об этом ничего не услышу. Через Хэнки, прямо в утренний пакет. Хэнки сам начал так делать с конца декабря, когда я вернул ему первый рапорт с пометкой «не годится для архивов». Он понял.

Ллойд Джордж отошёл от камина, прошёлся к столу. Три шага. С угла стола взял картонную папку — тёмную, без штампа, перевязанную бечёвкой, в три пальца толщиной, — положил перед собой. Опёрся на неё ладонями, не развязывая, не открывая.

— Вот, к примеру. На той неделе. Грузовое судно «Калибурн», порт Ярмут, восточное побережье. Шесть человек экипажа — кочегары и палубные, все с «Audacious» по бумагам. Холл сличал по своему листу — все шестеро в его колонке пятой, наёмные после ноября, печать «Audacious» в порядке, расчётные книжки в порядке. Капитан с торговой компании, не флотский, не разбирался. Зашли в Ярмут двенадцатого вечером, разгрузка назначена на восемь утра. Экипаж по графику остаётся на борту до конца разгрузки. Простояли ночь у причала.

Поднял голову. Смотрел не на Желлико — выше, в стену за его плечом.

— Утром портовый санитар поднялся на борт пораньше — у одного из британских кочегаров на «Калибурне» от прошлого рейса оставалась запись об ушибе, надо было снять повязку. В носовом кубрике санитар нашёл пирамиду из четырёх голов.

Молчание. Уголь шипел.

— Собственных.

Желлико смотрел.

— Аккуратно сложенных одна на другую — нижняя на доске пола, остальные сверху, лицами наружу, не внутрь. Тела — там же, в кубрике, на койках, в рабочей форме, не раздеты. Раны на шее одинаковые, гладкие, как лезвием — судовой нож, у каждого второго был такой же на поясе. Пятый из убитых был на палубе, под брезентом, в углу у бухты каната. Его голову так и не нашли.

Ллойд Джордж выпрямился, отошёл от стола, прошёл к камину. У каминной полки задержался — взгляд скользнул по миниатюрам, по жене, по двум дочерям, секунду, не больше, — и отвернулся к огню.

— Шестой ушёл по сходням ещё до рассвета, как любой моряк после ночной стоянки. Портовый сторож его видел, пропустил по бумагам — расчётная книжка в порядке, печать «Audacious» в порядке, на берег по увольнительной. Не остановили. Имя в реестре есть, лицо никто не запомнил.

Поднял голову. Голубые глаза двухчасового сна — на Джеллико, в первый раз за минуту.

— Я читаю это в утренних рапортах, лёжа в постели, до того как выпью чай. Адмирал, я премьер два месяца. У меня двадцать четыре часа в сутки и два из них на сон. Я не знаю, что мне с этим делать.

Джеллико не ответил.

Премьер смотрел в огонь. На каминной решётке шипел уголь — мокрый, плохо горел, чадил по углам. Запах сырого угольного дыма стоял в кабинете премьера привычно, его не выветривали. Уголь в Лондоне в феврале семнадцатого года был хуже довоенного на четверть.

— Адмирал. У нас нет Европы.

— Нет, премьер.

— Что у нас есть?

Это был тот же вопрос. Джеллико его помнил. Восьмого декабря, в первой аудиенции, через сутки после того, как Ллойд Джордж стал премьером. Тот же кабинет, тот же камин, тот же уголь. Ответ был тот же.

— Море, премьер. И русские.

Премьер посмотрел на него. Молчал три или четыре секунды. На каминной полке между миниатюрами стояла стеклянная рюмка с чистой водой — премьер взял её, не выпил, поставил обратно.

— Адмирал. Вы это уже говорили.

— Говорил, премьер. Восьмого декабря.

— Вы уверены, что у нас всё ещё есть русские?

— Я ничего другого не знаю, премьер.

Ллойд Джордж кивнул один раз. Не ответил. Подошёл к столу, взял один лист — Джеллико на лист не посмотрел, лист был с эмблемой Министерства иностранных дел, — пробежал, положил обратно.

— Адмирал.

— Премьер.

— Если через два месяца от русских ответа нет — я не могу больше держать Кабинет на «море и русских». Мне нужно что-то ещё. Что-нибудь. Хоть одно слово.

В январе Холл принёс перехват — лист положил лицом вниз, после доклада забрал. В пяти разных текстах, дешифрованных разными группами в Room 40, в декабре и январе повторялась одна и та же фраза: «они нашли что-то». Кто «они» — было ясно по перехватам. Что нашли — нет. Возможно, оружие. Возможно, средство, для которого в военном лексиконе слова нет. Холл тогда сказал тихо: «Каким-то образом, сэр Джон. Каким — не могу сказать. Но они выстояли.» В отчёт фразу не вынес. К Хэнки она не пошла. К Кабинету не пошла. Это был слух, и слухов в доклады не вносили.

— Я ничего другого не знаю, премьер.

— Я слышал.

Десять минут истекли. Джеллико это заметил по часам у камина — те же ходики, что в декабре, та же минутная стрелка с ободком. Премьер на часы не посмотрел. Стоял у стола, пальцами левой руки подравнивал стопку — по нижнему краю, ровно по столу.

— Адмирал. Идите. Пишите русским ещё раз.

— Премьер.

— Что?

— Если ещё раз — пишите вы, премьер. Через Министерство иностранных дел.

— Я подумаю.

Ллойд Джордж посмотрел на него ещё раз. Голубые глаза двухчасового сна. Не ответил. Махнул правой рукой — не «вы свободны», а «идите».

Джеллико вышел.

В прихожей Хэнки стоял на месте. Каули встал со стула, взял саквояж.

— Морис.

— Сэр Джон.

— Он спал ночью?

— Час сорок, сэр Джон.

— Хорошо. Я к себе.

В двенадцать пятьдесят два они вышли из дома десять по Даунинг-стрит. Туман над Уайтхоллом стал гуще, пелена опустилась, видно было до угла. Каули шёл слева. Джеллико шёл медленнее, чем по дороге сюда. В груди под правой ключицей удар пропустил такт третий раз за утро. Каули это посчитал. Сегодня в блокноте будет сто девятнадцатая строка про дыхание, считая с двадцать восьмого ноября.

\* \* \*

Назад до Адмиралтейской арки шли двадцать одну минуту. На Хорс-Гардс-Парейд Джеллико остановился во второй раз — у того же фонарного столба, тридцать секунд. Каули секундомер из жилета не доставал. Кивнул сам себе один раз, шёл дальше. Туман ложился на рукава шинели мелкой влагой, сразу стынувшей в шерсти серебром.

В кабинете было то же. Стол — тот же. Лист с шестью колонками Холла лежал на месте, под пресс-папье. Синий коленкор Хардкасла — слева. Газета — лицом вниз, под папкой. Огонь в камине — тот же. Эллиот вошёл сразу за Джеллико, помог снять шинель, повесил, унёс плащ Каули в смежную.

— Сэр Джон. Капитан Холл прислал в одиннадцать тридцать пакет от карантина. Я положил у двери.

— Принесите.

Эллиот вышел. Вернулся через четверть минуты. В руках — небольшой свёрток, казённая бумага, печати в трёх местах: Карантинная служба Королевского флота, Дувр, дата вчерашняя. Бечёвка крест-накрест. Эллиот свёрток развязал, бумагу снял.

Под бумагой — кожаный том. Чёрный переплёт, тиснение немецкое, готическим шрифтом: *Библия. По Мартину Лютеру*. Лютеровская Библия, обычная, не редкая, такие в немецком флоте лежали в каждой каюте по штату — Шеер по штату на флагмане «Friedrich der Große» имел такую при себе. Этот том был в кожаном чехле. Чехол — тёмно-зелёный, замша. От замши шёл резкий запах формалина и уксуса — карантинная обработка Дувра. Внутри, в тиснёном гнезде, том лежал плотно. На корешке — тонкая чернильная полоса, по верхнему краю, по правилу карантина: значит, прошёл и санитарный, и службу Холла.

— От адмирала фон Шеера, сэр Джон. Шестая. Через карантин.

— В правый ящик.

Эллиот положил том в правый ящик стола. Ящик закрыл. Тонкая чернильная полоса исчезла. Слой, который Джеллико не разбирал.

— Сэр Джон.

— Эллиот.

— Капитан Холл просил передать: новый том не надо открывать. Он сам разберёт, когда вы будете готовы.

— Хорошо.

Эллиот вышел.

Джеллико остался один. Кабинет был тёмн по углам и светел только у окна, как в восемь утра, как и в полдень, как в любой час этого года. Свет февраля шёл серый, бесцветный — тот же, что в декабре, тот же, что в январе.

Джеллико на правый ящик не смотрел.

Смотрел в камин.

Уголь шипел. Каминная решётка была старая, с заводской меткой 1894 года, латунь стертая по углам. Огонь по умолчанию шёл слабый, не разгорался — уголь сегодняшний был не лучше того, что в премьерском камине. На углу полки слева — перо, чернильница, пресс-папье. Справа — сейф, маленький, штатный, в нём лежал ключ от правого ящика, который Джеллико не открывал шестьдесят дней.

Седьмого декабря лежал тот же ключ. В правом ящике тогда лежал один том.

Декабрь Джеллико помнил без блокнота — день за днём, по часам, по событиям. Шёл по нему сейчас, как по карте.

\* \* \*

Седьмое декабря пришлось на четверг. Ллойд Джордж стал премьером накануне, в среду, ближе к полуночи. Первая аудиенция в новом кабинете была назначена на десять утра четверга, продлилась десять минут. Джеллико вернулся в Адмиралтейскую арку к одиннадцати — пешком, тогда туман тоже стоял низом, тогда Каули тоже считал, тогда блокнот был на восьмой неделе. Кабинет был тот же. Камин — тот же. Огонь шёл лучше: уголь декабря был ещё довоенным.

Эллиот тогда тоже принёс пакет от карантина. Первый — самый первый. Свёрток выглядел иначе: бумага была толще, печать — старее, замша на чехле — новая, светло-зелёная, не тёмно-зелёная, как у этого, февральского. Лютеровская Библия, тиснение по корешку. На форзаце — карандашом, мелким немецким почерком, одна строка: «Адмиралу Дж. Помолитесь обо мне. Р. фон Шеер.» Помолитесь, не «помолите»: глагол правильный, имперфект. Шеер так писал по-немецки тоже.

Джеллико тот первый том открыл — один раз, на форзаце, прочёл, закрыл. Положил в правый ящик. Закрыл сейф. Ключ оставил на углу полки.

Эллиот ушёл.

Это было в четверг, в одиннадцать пятнадцать. К половине двенадцатого Джеллико сидел один.

В голове было пусто. Не как у премьера в десять — у того была пустота человека, который двадцать четыре часа не спал и шёл на работу спать в кресле. У Джеллико была пустота другая. Пустота того, к кому пришла шестая бумага за неделю с тем же словом — «не справляемся». От пустоты ничего не складывалось. От пустоты человек идёт спать или пишет письмо. Джеллико стал писать.

Бумага у него была хорошая, плотная, дореволюционной русской выделки — её в Адмиралтейство закупают через Антверпен в четырнадцатом году, последняя партия, ещё лежала в шкафу секретаря.

Перо — обычное, золотое, перышко среднее. Чернильница полная.

Он писал левой рукой.

Правой в эти месяцы выписывалось то, чего нести нельзя ни на доклад, ни на стол. Геометрия. Линии, которые Джеллико каждое утро сажал на чистый лист — и каждый день к одиннадцати лист уходил в камин.левой геометрия не шла.левой можно было царю.

Левая в декабре дрожала.

Первый черновик он начал «Ваше Величество». Дальше пошёл коротко: пять строк, телеграммой: «Прошу прислать флот. Канал не удержим без вашей помощи. Благодарю. Дж.» — в таком виде, без объяснений, без причин, без слов о том, **зачем**.

Прочёл. Это была телеграмма, не письмо. Это можно было сказать через первого секретаря посольства, не через царя.

Сжѐг. На каминной решётке, в углу справа, где огонь шѐл лучше: бумага потемнела, свернулась, обуглилась. Запах был знакомый — горящая бумага, чистый.

Второй черновик начал тем же. После «Ваше Величество» — десять строк: про сдачу Хохзеефлотте, про весь остаток их флота на плаву, про то, что Германии нет, про то, что Канал в опасности, про то, что нужно прислать флот. Без слов о Шеере. Без слов о причине, по которой Шеер сдался. Без слов о том, что Канал в опасности **не от подлодок**.

Прочёл.

Это было хуже. Это была политика. Это можно было сказать через посла Бьюкенена, без обращения к царю.

Сжѐг. На каминной решётке, в углу справа.

Третий черновик начал тем же. После «Ваше Величество» — сидел пять минут, не писал. Камин шипел. За эти пять минут Каули в смежной машинально вѐл блокнот — ещё две строки. Джеллико тогда не знал про блокнот. Знал, что Каули у двери, и всё.

Потом написал — левой рукой, медленно, не отрывая пера дольше, чем на одну фразу:

*Враг идёт к нам с материка.*

*Германии больше нет. Весь остаток их флота сдался мне три недели назад, с жёнами и детьми на борту. Они бежали.*

*Что-то поднимается из глубины и убивает наш флот. Я не знаю, сколько мы ещё сможем удерживать пролив. Не знаю, выстоит ли Англия без Вашей помощи.*

*Прошу Вас прислать флот.*

*С уважением, Джеллико.*

Прочёл.

Левая дрожала на третьем абзаце. На третьем, не на первом — первый и второй он мог защищать перед Кабинетом, перед королѐм, перед собой: про материк и про Германию знал каждый штабной офицер. Третий — нет. Третий был не из военного протокола. Там стояли две строки, которые Джеллико ни разу не произносил вслух. «Что-то поднимается из глубины» — эту он не записывал в дневник, не вынес на доклад, не повторил ни Холлу, ни Хэнки, ни Гвендолин. И «не знаю, выстоит ли Англия» — эту тоже. Но в письме царю — записал обе.

Прочёл ещё раз.

Не сжѐг.

Запечатал. Сургуч взял красный, штатный. Печать поставил адмиральскую, не личную: в дипломатическом протоколе личная печать на внеслужебном письме адмирала к царю — нарушение этикета, а адмиральская — допустима. Это был способ Джеллико оставить себе путь к отказу: если письмо вернѐтся непрочитанным, он сможет сказать — «служебное» — и закрыть.

Эллиот унёс конверт через четверть часа.

К Бьюкенену в Петроград — через Стокгольм, через Копенгаген, через Архангельск. Курьерская дипломатическая сумка. Обычный путь.

Через неделю Хэнки прислал записку — серый конверт, как сегодняшней. В записке стояли две строки. Первая: Георг V подписал сопроводительное обращение к кузену, своей рукой, по-английски, с домашним именем «Ники». Вторая: Стамфордхем заверил два экземпляра, второй — в королевской канцелярии, не в архиве. Первый ушѐл с Джеллико через Бьюкенена.

Джеллико записку сжѐг. На каминной решётке, в углу справа.

Через две недели после депеши — пришла первая Библия.

С декабря пришло шесть. Шестая лежала в правом ящике с сегодняшнего утра.

\* \* \*

Февраль.

Кабинет.

Джеллико сидел за столом. Левую руку в рукаве кителя держал на колене — там она дрожала меньше. Правая лежала у пресс-папье, на листе Холла. Правый ящик был закрыт. В нём — шесть томов.

Огонь шёл слабо. Вторая половина февраля грозила быть холоднее первой. Уголь грозил быть хуже февральского. Всё это было известно.

Через час Эллиот зайдёт с обедом — холодный говяжий язык на хлебе, чашка чая, ампула морфия, нетронутая, на углу. Джеллико язык съест, чай выпьет, ампулу не тронет. Так было заведено с декабря.

До часу — оставалось двадцать восемь минут.

Он смотрел в камин. На каминной решётке, в углу справа, не было следов от тех черновиков — за два месяца зольник чистили несколько раз. Но место Джеллико помнил.

Депеша ушла два месяца назад.

Тогда он думал, что просит о флоте.

Сейчас не был уверен, что он просит о флоте.

Часы у камина пробили один раз — час дня. Эллиот за дверью двинулся — собрался постучать костяшкой, спросить, можно ли войти с обедом. Джеллико кашлянул, поднял ладонь к лицу — Эллиот услышал, не вошёл. Постоял минуту, ушёл к себе.

За переборкой у Каули было тихо.

Джеллико сидел за столом ещё минут семь или восемь. Дыхание выровнялось. В груди ниже правой ключицы такт держался.

Правая рука лежала у пресс-папье. Указательным пальцем он подровнял первую колонку Холла — не сдвинуть, а приладить, как Хардкасл приладил утром свой синий коленкор по краю стола. Заметил это через секунду. Палец убрал.

К правому ящику — не прикоснулся тоже.

Встал. Прошёл два шага, потом два — отдышался. Подошёл к камину. Постоял у решётки на углу справа. На угле справа — где в декабре сторели три черновика и записка от Хэнки, — лежал пепел и зольная корка, серая поверху и чёрная по нижнему слою. Ровный, без следов.

Туда он не доложил ничего.

Прошёл к двери. У двери остановился, обернулся — на стол. На столе всё было на месте. В правом ящике — шесть Библий.

Гасить лампу не стал.

Эллиот гасил после.

Джеллико вышел в коридор. Каули — за ним. Дверь Эллиот закрыл сзади ключом, медленно, на два оборота.

Над парком висел туман. Тот же, что утром.

## Интерлюдия. «Карлскруна»

*Карлскруна, девятое января 1917 года, утренние сумерки.*

В шесть сорок пять капитан-лейтенант Ларссон вошёл в радиорубку батареи номер два. На батарее держали круглосуточный приём с октября — после того, как в Финском заливе шведский угольщик «Хеллстрём» вернулся с дрейфующими телами и шведское Адмиралтейство приказало портовым гарнизонам слушать радио в часы, в которые до войны радио на берегу никто не слушал. Ларссон с октября выходил на смену в шесть сорок пять. До октября — выходил в восемь.

Радист — капрал Сёдерберг, тридцать один год, из Мальмё, на службе с тринадцатого года — на стуле сидел прямо. У него под левым ухом — пара наушников. Перед ним — приёмник Маркони, шведской сборки, тысяча девятьсот двенадцатого года. В радиорубке пахло ламповым маслом и табаком — Сёдерберг курил трубку, до прихода офицера выбил её в жестяную банку. Лента шла.

— Господин капитан-лейтенант.

— Сёдерберг.

— С пяти двадцати — судно. Шведский флаг, по позывному «Стуребро», портовое, регистр Гётеборга. Просит подхода к причалу.

— Координаты.

— Юго-восточный сектор, шесть миль от мыса Эрсё. Идёт на тринадцати узлах. Курс норд-ост. Видимость переменная.

— Что просит?

— Швартовку. Сёдерберг повторил их слова: восемь суток в море, провизия кончилась четвёртого, вода — позавчера. На борту — двенадцать. Просят немедленный приём.

— Восемь суток в море.

— Так точно.

Ларссон у Сёдерберга через плечо взглянул на ленту. Морзе шёл шведскими буквами, ровный. Подпись принимавшего — «Берг, второй помощник „Стуребро“». Знакомое имя в реестре — Сван Берг, тридцати восьми лет, в торговом флоте с девятьсот пятого, штатный. До войны Ларссон с ним пересекался в Гётеборге, в кают-компании портовой администрации, на разборе сел. Берг сидел тихо, чай пил с лимоном, не спорил.

— Ответили?

— Подтвердил приём, ожидаем подхода. Сообщил, что готовим помощь.

— Хорошо.

Ларссон вышел из радиорубки. Над парком батареи стоял туман — тонкий, январский, морозный. Снег на дорожке хрустел. У орудийной площадки нижней батареи — два часовых, один курил в рукав, другой смотрел в море. На столе у наблюдательного пункта — бинокль артиллерийский, цейсовский, тысяча девятьсот десятого года, с медными окулярами. У стола — журнал поста на сегодня, открытый на первой строке.

Ларссон бинокль поднял. Подкрутил окулярами.

В южном секторе на полукабельтова выше уровня моря шёл дым. Серый. Прямо. Не густой — угольщик с маленькой машиной, с экономным ходом. Через две минуты под дымом появился корпус — паровик в двести футов, чёрный, с белой надстройкой. Шведский флаг на корме — четвёртой пятиметровой полосой. Шёл прямо, не маневрируя, держал курс на восточный причал.

На палубе у борта — люди.

Ларссон увеличил. Двенадцать фигур. У левого борта — шесть. У правого — четыре. На полуюте — двое. Стояли. Не двигались. Не работали с тросами, не готовили швартовные концы, не ходили вдоль фальшборта. Стояли так, как стоят на параде после команды «смирно».

— Сёдерберг.

— Господин капитан-лейтенант.

— Спросите второго помощника, почему команда не готовит швартовные. До причала — четверть часа хода.

Голос из радиорубки через две секунды.

— Господин капитан-лейтенант. Берг подтверждает: команда готова к швартовке. Тросы будут поданы по приказу старшего на палубе. Просит снизить скорость подхода — у борта затруднения с провизией.

— Передайте: подтвердите наличие старшего на палубе.

Пауза. Тридцать секунд. Сорок.

— Берг подтверждает: старший на палубе — боцман Линд, у левого борта, шестой от носа.

Ларссон бинокль не опускал. Левый борт. Шестой от носа. Через цейсовские окуляры лицо боцмана Линда было от Ларссона в пяти кабельтовых — расплывалось, складывалось не сразу. Ларссон подкрутил резкость.

Боцман Линд у левого борта стоял прямо. Руки вдоль тела. Голова прямо. Лицо — в утреннем свете, при тумане низком — было видно отчётливо.

Лицо было синее.

Ларссон выдохнул. Не намеренно — между вдохом и выдохом образовалась пауза, в которой ладонь правой плотнее обхватила цейс. Костяшки побелели. Выдох пошёл секунды через две.

Не оттенок зимы. Не от холода. Синее как кожа, в которой кровь остановилась трое суток назад. Под левым глазом — тёмное пятно, по форме как окисление, с зеленоватой каймой. Рот приоткрыт на палец. Челюсть отвисла — не так, как у спящего. Как у того, чьи мышцы перестали держать челюсть.

Ларссон опустил бинокль. Дважды моргнул. Поднял снова.

Лицо Линда было то же. Синее. Челюсть приоткрыта. Глаза тёмные. Не моргали.

Ларссон перевёл резкость дальше — на пятого, на четвёртого, на третьего. У левого борта — все шесть. Лица в разной стадии: у одного синева гуще, у другого пятна по щеке, у третьего нижняя челюсть смещена на полпальца вбок. У одного — на скуле — то, что было кожей, отслоилось, белело подкладкой.

Они стояли.

Радист в радиорубке щёлкнул переключателем.

— Господин капитан-лейтенант. Берг повторил запрос на швартовку. Просит ответ. Подаёт подтверждение приёма.

Ларссон бинокль не опускал.

— Сёдерберг. Кто говорит в радио?

— Берг, господин капитан-лейтенант. Подпись Берга на каждой передаче. Я узнаю руку — он со мной работал в четырнадцатом году по Балтике, его морзе ни с кем не спутаешь. Он.

— Берг говорит, что команда готова к швартовке.

— Так точно.

— Командой называет тех, кто стоит у борта.

— Так точно.

Ларссон через окуляры посмотрел на радиорубку «Стурebro» — белую надстройку в середине корпуса, окно тонкое, с занавеской светло-серой. За занавеской — ничего. Окно тём-

ное. На крыше надстройки — антенна, не повреждённая, ровная. С неё передавал голос Берга. Через двенадцатый год Маркони, из радиорубки, в которой Ларссон сейчас никого не видел.

— Сёдерберг.

— Господин капитан-лейтенант.

— Передайте Бергу: остановиться. Сбросить ход до нуля. Подойдём катером.

— Передаю.

Пауза. Двадцать секунд. Сорок. Минута.

— Господин капитан-лейтенант. Берг отвечает: машинист в кочегарке, ход не сбавляет.

Просит подойти к причалу. Восемь суток в море. Просит швартовку.

— Восемь суток в море, — повторил Ларссон.

— Так точно.

«Стуребро» шёл к причалу. До причала — три мили. Ход тринадцать узлов. Десять минут.

Ларссон опустил бинокль. На наблюдательном пункте — пусто, только часовой у орудийной. Над морем — туман. Снег на дорожке хрустнул под подошвой. Ларссон обернулся к нижней батарее.

— Хольмберг.

— Господин капитан-лейтенант.

— Двадцатичетырёхсантиметровая. Цель — судно «Стуребро», в южном секторе, на трёх милях. Расчёт — на поражение, в средний каземат и в корму. Огонь — по моей команде.

Хольмберг — старший огневой офицер, сорок пять лет, на батарее с девяносто восьмого года — посмотрел на капитан-лейтенанта Ларссона прямо.

— Господин капитан-лейтенант. На «Стуребро» шведский флаг.

— Шведский флаг.

— На борту — двенадцать человек.

— Двенадцать.

— У нас приказ из Адмиралтейства от октября.

Ларссон на секунду перевёл взгляд на южный сектор. Дым «Стуребро» шёл прямо, не маневрируя. Хольмберг ждал, не двигаясь.

— У нас приказ. Готовьте.

— Слушаюсь.

Хольмберг отвернулся. Орудийный расчёт пришёл в движение — без спешки, по-учебному, как ходили в декабре на стрельбах по щиту. Замок. Снаряд. Заряд. Прицел. Через шестьдесят секунд — готовы.

В радиорубке — голос Берга. Сёдерберг через дверь радиорубки кивнул Ларссону: передача идёт. «Стуребро» запрашивает швартовку. Третий раз за две минуты.

Ларссон бинокль ещё раз поднял. Боцман Линд у левого борта стоял прямо. За пять секунд — не двинулся. За двадцать — не двинулся. У правого борта — те, четверо, тоже не двинулись. На полуяте — двое.

Двенадцать.

Ларссон опустил бинокль.

— Огонь.

Хольмберг продублировал. Огневой расчёт — две секунды. Залп. Сотрясение под ногами. На южном секторе — вспышка под надстройкой «Стуребро».

Второй залп — через двадцать секунд. По корме.

«Стуребро» развернуло на четыре румба. Корпус разваливался — носовая часть быстро, кормовая дольше. На воде остался дым. В пять минут восьмого «Стуребро» ушёл под воду полностью.

Двенадцати фигур у бортов Ларссон через бинокль не видел в момент попадания. После — в зоне обломков — ничего не плавало. Ни тел, ни шинелей, ни шлюпок.

Радио — оборвалось на середине слова. Сёдерберг через дверь радиорубки сообщил: на последней передаче Берг успел отправить *«разреш...»*. Дальше — несущая частота, чистая, без сигнала. Через минуту — частоту закрыли.

Ларссон сел на лавку наблюдательного пункта.

В журнале поста на сегодня вписал левой — он правой с октября не писал на батарее ничего, кроме рутинных подписей:

*«Стуребро», шведский торговый, регистр Гётеборга. 9 января, 7:04. Открыли огонь на поражение по приказу старшего по батарее. Причина — установлено состояние команды, не отвечающее протоколу швартовки. Подробности — устно контр-адмиралу Сиднеру.*

Подпись — *Бьорн Ларссон*, лейтенант. С росчерком левой, медленным.

\* \* \*

В девять сорок пять Сёдерберг постучал в кабинет старшего по батарее.

— Господин капитан-лейтенант. С девяти двадцати — новая передача. Норвежский флаг. «Кристиансанд», паровик, регистр Бергена. Семь суток в море. Просит швартовку.

Ларссон через минуту поднял голову.

— Где они?

— Юго-западный сектор. Двенадцать миль от мыса Эрсё. Ход девять узлов. Курс норд-ост.

— Подтвердите приём. Готовьте батарею.

— Слушаюсь.

Сёдерберг вышел. Дверь прикрыл прижимом.

Над морем стоял туман. К десяти он не поднялся — лёг на воду плотно. Снег на батарее хрустел только под одним часовым. Второй заступил в смену в восемь и под подошвой не хрустел — он стоял на одном месте у дальнего конца дорожки.

Ларссон бинокль не поднимал. С октября — с «Хеллстрёма» — он эту дугу знал.

## Глава 15. «Приказ, Петроград, прощание»

*7 января 1917 года. Ревель — Петроград, Адмиралтейство.*

Утром седьмого января над Балтийским вокзалом в Ревеле стоял туман — сухой, морозный, не балтийский по виду. Такой бывал на третью неделю стояния в минус тридцать, когда залив схватывало до самого горизонта и пар над водой выходить уже не мог, а с земли поднимался свой, дровяной, низкий, висевший в воздухе, как занавесь. Лошадей запрягали не в санки, а в розвальни, для проходимости по плохой дороге. Колокольцы у шей звенели сухо, тонко — на морозе медь натягивалась струной, голос становился узким.

Эссен стоял у вагона. Вестовой Григорьев нёс портфель и шинельный чехол, шёл за ним в трёх шагах, как полагалось. Ренгартен — у соседнего вагона, со своей кожаной папкой подмышкой, в каракулевой шапке. Смотрел в небо, потом на часы, потом снова в небо. Папку держал в правой подмышке, не в левой. Эссен отметил.

Вагон был мягкий, второй от хвоста. Министерская бронь — командующему Балтфлотом и старшему офицеру штаба полагалась отдельная купе-секция, с отдельным проходом и собственным проводником. Проводник — старик в форменной шинели, с бакенбардами по моде девяностых — приподнял ладонь к виску, не сказал ничего. Эссен кивнул, поднялся.

В купе было натоплено. Печка где-то в служебном тамбуре работала с ночи, пар стоял на нижней половине окна, на верхней — иней по углам. Стол откинут. Стакан в подстаканнике, ложка, обёрнутый в салфетку сахар — вестовой ставил, пока Эссен стоял на платформе. Эссен сел, не снимая фуражки. Минуту смотрел в окно — на угол вокзала, на рельсы веером, на снежную крышку над путями, на жандарма в собачьей дохе, который медленно прошёл вдоль состава, заглядывая под колёса.

Шинель снял в два движения. Перчатки — на колено. Фуражку — на крик.

Поезд тронулся в восемь четырнадцать, на четыре минуты раньше срока. Машинист спешил. За окном в обратном порядке прошли — водокачка, угол депо, забор, штабеля шпал под снегом, склад фуража с двойной железной дверью, пусто-белое поле станционного разъезда. Дым от паровоза накрыл стекло, потом ушёл.

То, что поселилось у него в черепе с двадцать пятого декабря, — было сейчас. Не громче и не тише, чем в каюте «Рюрика», где он услышал его впервые, вернувшись с Каттегата. У затылка — то же. В челюсти — то же. Везде и нигде, ровное, без подкатов. И одновременно — без места, потому что названия для него у Эссена не было, а без названия место не отыскивается. Эссен пробовал дважды — на третьи сутки и на пятые — отыскать, оборачивался к нему вниманием, как оборачиваются на голос в коридоре. Голоса не оказывалось. Оставалось то, что не отзывалось ни ухом, ни ртом, ни словом.

Через дерево обшивки купе и через железные борта вагона — глухой гул, не паровозный. Гул шёл оттуда же, откуда и оно, но снаружи: через сталь, через дерево, через подошвы. Утром гул был чуть слабее, к вечеру нарастал. Сейчас, в восемь шестнадцать, был средний — не подкатывал, не отступал.

Зовёт? Отвечает? Вопросы, на которые он не хотел знать ответа.

Эссен открыл портфель. Достал журнал — личный, в чёрной коже, с потёртыми углами. Ремни не застегнул. Достал перо в футляре. Положил рядом. Не открыл.

Чай отхлебнул один раз. Горячий, слабо заваренный, с привкусом железной воды и угольной гари — как всегда в министерской брони.

Поезд шёл по выходной стрелке — справа, мимо последней семафорной мачты, мимо часовни в углу станционной территории. У часовни — две женщины в платках, мужчина в полушубке, мальчик. Крестились не на купола, а на запад, в сторону уходящего поезда. Эссен это видел три секунды, пока вагон не унесло. Привычка пятнадцатого года: крестить уходящих

на войну. К семнадцатому году крестили — всех. Поезда на Петроград, на Москву, на Архангельск, на Юг. Дровни с гробами. Стариков на крыльце.

Он прикрыл занавеску.

Из соседнего купе шёл голос Ренгартена — короткий, спокойный, по-русски, сквозь тонкую стенку. Ренгартен говорил с проводником о расписании в Нарве — ходатайствовал за то, чтобы остановка не превысила семи минут. Старик что-то бурчал в ответ, не возражая. Голоса доходили до Эссена через стенку — слова не складывались, оставался один тон: ровный, без тревоги.

Журнал он открыл на чистой странице.

Перо обмакнул.

Подержал.

Хотел писать о приказе из Ставки, который пришёл двадцать четвёртого декабря по морскому ведомству и о котором сегодня предстояло говорить с Григоровичем, — но мысль о приказе сразу же повела в сторону, в каюту «Рюрика», в ту строку, которая там осталась незачёркнутой. *Они тоже.* Эта строка лежала в журнале на тридцать первом декабря. За две недели он её ни разу не открывал и ни разу не зачёркивал. Знал, что она там.

Эссен перо обмакнул второй раз.

Написал:

*К министру по приказу 78-Б. Срок похода — март-апрель. Состав — экспедиционный. Флагман — крейсер.*

Подержал. Зачёркивать не стал. Закрыл журнал.

Перо вытер. В футляр.

За окном мимо плыло — поле под снегом, молодой ельник, пустая будка путевого обходчика, опять поле. На горизонте — низкая серая полоса, не неба и не земли, а той зимней складки, которая бывает к десяти часам. Эссен смотрел на это, не считая. Считать он перестал в середине декабря. Ловил на этом сам себя: раньше считал всегда — вёрсты, минуты, фарватеры, число матросов в шеренге. С декабря — отпускал.

Чай остыл.

В Нарве остановились в одиннадцать ноль пять. Семь минут — как Ренгартен и просил. Эссен из купе не вышел. На платформе под окном — трое в полушубках, в валенках, с винтовками за спинами, в чёрных башлыках. Не патруль. Полевые стражи Синода — формирование, набранное по указу о духовной обороне. На левом рукаве — полоса с шитым крестом, на правом — обычный армейский шеврон. Эти трое стояли у головы поезда, у тендера, поглядывая на пассажиров вагона третьего класса. Один держал в опущенной руке икону — небольшую, в окладе, обращённую тыльной стороной наружу.

Когда мимо поезда проходила женщина в платке — стражи провожали её взглядом, не двигаясь. Она крестилась не широко, прямой ладонью, как крестятся, когда не уверены, что разрешат. Прошла к выходу с платформы.

Эссен задёрнул занавеску совсем.

В одиннадцать двенадцать поезд тронулся. На свистке раз — потом ещё один, длинный.

Он откинулся в кресле. Закрыл глаза. На мгновение давление под кожей подвинулось — не ушло, но подалось, словно бы внутри расступилось. В этом расступлении проступило — слабо, с большой дистанции, на полтона ниже того, что он помнил, — четыре звука, идущих один за другим.

Эссен открыл глаза.

За окном плыли поля. Ельник. Ещё одна пустая будка.

Он сел прямо. Левой рукой поправил воротник тужурки, прошёлся пальцем по ленте Святого Георгия — четвёртой степени, за «Севастополь», единственная цветная нашивка, которую он ещё носил в обыденной форме. Лента была холодная.

За январь — четыре раза не ночевал дома. Флот выходил из памяти. Маша писала об этом без укора: «Николай, ты уезжаешь, не сказав, и возвращаешься, как будто и не уезжал. Я тебя не упрекаю. Только дом без тебя гложет.» Письмо лежало в нагрудном кармане тужурки, второй неделей. Перечитанное. Не отвеченное.

Маша, — сказал он внутренним голосом, не открывая рта.

Это слово ходило у него с двадцать седьмого ноября — без надобности, без адресата, как старая папироса в зубах. Эссен уже не понимал, кому именно говорит — жене, дочери, или Той, чьё имя они носили. Все трое назывались Мария. Это выручало.

Постучали.

— Входите, Иван Иванович.

Ренгартен вошёл, прикрыл дверь рукой, не оглядываясь. Сел напротив, на вторую скамью. Папку положил на колени. В очках — двойные блики от зимнего света за окном.

— Через два часа Гатчина. К часу — Балтийский.

— Принято.

— Григорович примет в три.

— Хорошо.

Эссен смотрел не на Ренгартена, а на угол его папки — где у застёжки чёрная кайма от дёгтя стёрлась с осени, остался след. Этот след был при нём с лета пятнадцатого, когда Ренгартен на «Рюрике» прислонился к свежевыкрашенной кнехтовой колонке и не заметил, что испачкался. С тех пор папка пятилась дальше, кайма таяла, но не пропадала.

— Кто из Синода ждёт?

— Архимандрит. Гавриил, Беляев в миру. Из Александро-Невской лавры.

— Аввакума не будет?

— Ходорович — будет. По линии Синода.

Эссен помолчал. Аввакума он за полтора месяца, прошедших после Гельсингфорса, успел не забыть — держал в памяти не как угрозу, а как лицо, на которое смотрел из-за чашки чая.

— Гавриила не знаю.

— Никто не знает, Николай Оттович. Выдвинут в декабре, после старца. Александро-Невская — учёный монах. Преподавал нравственное богословие в Петроградской духовной академии. Печатался в «Церковном вестнике» — три статьи за пятнадцатый год.

— О чём?

— Об искуплении. О дисциплине. О посте. Я выписал, у меня в папке.

— Не нужно.

Ренгартен кивнул один раз.

Эссен посмотрел в окно. Поле, столб телеграфной линии, столб, столб. Снег, под снегом — что-то тёмное. Не земля, лес далёкий.

— Иван Иванович.

— Слушаю.

— Маше я не телеграфировал. На обратном пути остановимся у Марии Николаевны на Кирочной.

— Я предупрежу комендатуру.

— Не надо предупреждать. Едем тихо.

Ренгартен кивнул второй раз. Не написал. Это Эссен заметил отдельно — Ренгартен в купе не доставал блокнота с самой Нарвы. Папку открыл только однажды, у перрона, чтобы свериться с расписанием. Эссен не стал спрашивать.

— Идите, Иван Иванович. До Гатчины почти два часа. Поспите. Вчерашнюю ночь вы не спали.

— Я в порядке, Николай Оттович.

— Идите.

Ренгартен встал. У двери задержался. Папку перехватил из-под мышки в руку, потом обратно. Не сказал ничего. Вышел. Дверь закрыл аккуратно, не до щелчка — чтобы не хлопнуло на стрелке.

Эссен остался один.

В купе сразу стало тише — будто Ренгартен забирал с собой не только своё дыхание, но и часть воздуха. Эссен это знал по «Кречету», по «Рюрику», по штабу: с ним рядом всегда дышалось чуть легче. Сейчас, без него, под кожей сделалось плотнее.

Эссен открыл занавеску — на ладонь, не больше.

За стеклом, в полевой пустоте между двумя верстовыми столбами, стояла группа людей. Семеро или восемь — с первого взгляда не сосчитать, потому что вагон уже поравнялся и шёл мимо. Они стояли в линию, лицом к рельсам, в простой крестьянской одежде. Над линией поднимались столбики пара от дыхания. Не патруль. Не работники путей. Просто стояли.

Эссен смотрел на них четыре секунды, пока вагон не унёс.

Они не крестились.

Это было первое, на что у него отозвалось — не на то, что они стояли, а на то, что не крестились. К семнадцатому году в России крестились все и всегда.

Эта семёрка — стояла прямо. Руки опущены. Лица — он не успел рассмотреть.

Поле унесло их. Молодой ельник заслонил.

Эссен сидел ещё минуту. Потом задрнул занавеску снова, до конца. Перо положил во внутренний карман тужурки. Журнал — в портфель.

Через борт вагона — гул, ровный. На полтона ниже того, что он помнил.

Поезд шёл на Гатчину в восемнадцати минутах от стрелки, выходя из ельника на длинную прямую.

Небо — над ельником — серое.

Без разрывов.

\* \* \*

Балтийский вокзал в Петрограде встретил в час двадцать. Эссен сошёл вторым, после Ренгартена, на расчищенную дорожку перрона. Снег по сторонам стоял в метровых валах, отбитых лопатами с ночи. Жандарм у выхода с перрона приложил руку к виску, не сказал ничего. Эссен прошёл мимо, не отвечая.

Под аркой вокзального выхода, по левую руку, — публичный молебен. Полтора человека на коленях прямо в утопанном снегу: бабы в платках, два старика, мужчина в железнодорожной шинели без знаков, девочка лет десяти, прижатая к бабьему боку. Иеромонах с кадилом стоял на ступенях, читал тропарь Богоявления — четвёртое января по новому счислению давно прошло, но молебны теперь шли подряд, с осени, без перерыва на праздничный круг. Голос у иеромонаха был тёплый, низкий, без надсады. Кадил он мерно, не сбиваясь от мороза. Из-под скуфьи выбивались светлые волосы, на щеках — здоровый румянец. Голос держал на полтона выше церковной нормы — тянул, не уставал.

Стоявшие на коленях — крестились с задержкой. У женщины в первом ряду рука поднималась к плечу медленно, словно сквозь воду. Старик за ней крестился чаще, но коротко, не доводя пальцев до груди. Глаза у всех были опущены не от смирения. Просто опущены.

Эссен прошёл мимо, не сворачивая.

В носу, у самого выхода с перрона, под аркой, — запах. Не вокзальный, не угольный, не от мочи в углу. Земляной, сухой, как из октябрьского погреба. Эссен этот запах знал — с двадцать седьмого ноября. Не часто, но регулярно: то у вестового, вернувшегося с берега,

то от шинели в коридоре штаба, то на палубе после швартовки. Раз — у себя на руке, после рукопожатия с офицером, доставленным из Гельсингфорса.

Эссен заметил без оформления. Прошёл к стоянке.

Шарабан стоял третьим в ряду — не обычный извозчичий, а штабной, с двойной полостью, обтянутой мехом, и с маленьким двуглавым орлом на дверце. Отправили из ведомства Григоровича. Кучер — пожилой солдат с седой щетиной, в чёрной шинели — сидел на козлах прямо, ноги в валенках, руки в варежках с обрезанными большими пальцами. Когда Эссен подошёл — повернулся.

— Ваше высокопревосходительство.

— Здравствуйте, голубчик.

— На Адмиралтейство?

— Да.

Кучер кивнул. Глаза у него Эссен заметил отдельно — синева под нижним веком, не вчерашняя, недельная. Держался прямо, но левая рука — та, что подбирала вожжи, — раз дрогнула и легла обратно.

Ренгартен сел рядом, не напротив. Папка у него лежала на коленях. Шарабан тронулся.

Загородный проспект в этот час был не пуст, но и не густ. По правую сторону — ряд лавочников: булочная с заколоченными ставнями — по приказу от градоначальства закрыта до полудня, — мастерская сапожника, табачная торговля. На каждой второй вывеске — иконный угол под стеклянной коробкой, с лампадкой за стеклом, и горящей. Это вошло осенью по указу: вывеска без иконного угла снимается, лавка закрывается. Эссен это знал по донесениям Григоровича. Видел впервые.

На витрине табачной — печать в углу: двуглавый орёл с малым крестом над верхней короной, по краю надпись церковной вязью, сургучный оттиск. «Осмотрено». Печать ставили раз в две недели, синодальный комиссар при градоначальстве. Без печати — товар не продают. Это тоже Эссен знал по бумаге.

— Иван Иванович.

— Слушаю.

— Сколько указов с октября — по морскому ведомству?

— Семь, кроме циркулярных.

— А по Синоду на флот?

— Двадцать три. Не считая разъяснительных.

— Двадцать три.

— Да.

Эссен помолчал. На углу Загородного и Звенигородской, у фонарного столба, толпился народ, две дюжины, женщины и старики. Не очередь — очередь обычно тянется в линию, эта стояла кучкой. У стены дома, под навесом, — полотняный шатёр и за ним фигура в подряснике с книгой. Иеромонах, не больше сорока, с тёмной бородой. Принимал из рук в руки бумажки, делал отметку, возвращал. Получивший проходил к печке-буржуйке у шатра, где лежали чёрные хлеба, нарезанные на четверти. Брал свою четверть, отходил.

Не получивший — отходил тоже. Без четверти.

— Что это?

— Монастырская раздача. По исповедальной книге — без отметки не дают.

— А кто без отметки?

— Те, кто давно не говел. Или иноверцы. Или подозреваемые. Списки ведутся при участке.

Эссен смотрел на иеромонаха за столиком. У того лицо было спокойное, раздумавшееся. Шапки не было — служил в одной скуфье и в подряснике, поверх — епитрахиль. Не мёрз.

Двигался быстро, без сбоев. Когда отказывал — не повышал голос, не извинялся. Кивал на следующего.

Одна женщина — молодая, в чёрном платке, с маленьким на руках — простояла перед ним полминуты. Иеромонах не возвращал бумажку, она не уходила. Что-то говорила. Иеромонах смотрел сквозь неё, как смотрят на дальнюю точку. Потом одной рукой указал в сторону. Женщина пошла.

Куда — Эссен не увидел. От шатра, в сторону шарабана, прошли две бабы, одна другой, не понижая голоса: «...старца стреляли, и не убили — он ещё месяц ходил, а потом уж...», и обе свернули за угол, не договорив. Шарабан повернул на Загородную набережную канала.

— Иван Иванович.

— Да.

— Иеромонах, который раздаёт. Откуда — Лавра?

— Из Лавры. Командирован в декабре.

— А молодые — здешние?

— Не все, Николай Оттович. Многих присылают из Ярославля и Костромы. Из Сергиева Посада. По разнарядке Синода.

— Прислано всех — сколько?

— На Петроград? К началу января — около четырёмсот пятидесяти.

Эссен снова помолчал.

В шарабанах пахло конским потом, табаком кучера. Сквозь это — слабее, не навязываясь, — тот же. Не от шинели кучера: тянуло снаружи, через щель полости. Откуда — не определялось. С набережной, со стороны канала, или с проезжей части.

Семёновский мост проехали в час сорок две. На льду канала, под мостом, — две фигуры в брезентовых робах: рыболовы с ручными лебёдками, тянули из лунки сеть. На сети — пусто, только лёд кусками. Один из рыболовов, тот, что повыше, разогнулся и пошёл к берегу, оставив товарища. Шёл по льду неторопливо, без оглядки. У берега лестница на набережную. Не поднялся — стоял внизу, у нижней ступени, лицом к мосту, руки опущены.

Не крестился.

Эссен это отметил вторым разом за день. С утра — те семеро в поле под Гатчиной. Сейчас — этот один. Совпадения не складывались в систему, но он держал их помимо своей воли.

Шарабан вышел на Гороховую.

Гороховая дала Невский. На углу — городской в чёрной шинели и шапке с гербом. На левом рукаве — нашитая чёрной тесьмой полоса, посередине — крест. Городской стоял прямо, рукой при шашке, смотрел не на Эссена, не на лошадь, не на проезжую часть. Смотрел в сторону Знаменской. Туда же, со стороны Знаменской, шёл низкий, нарастающий звук — не паровозный, не уличный. Пение.

Кучер обернулся через плечо.

— Ваше высокопревосходительство, на Знаменской — народ сегодня. Я по Знаменской пройду или Лиговкой обогну?

— Что на Знаменской?

— Дружина с Путиловского — с утра. Я вчера слышал, говорили. Идут с просьбой к канцелярии за хлебом. Сейчас, видать, пришли.

— Идите Знаменской. Медленно.

— Слушаюсь.

Шарабан пошёл по Невскому к востоку. Городской проводил их взглядом без поворота головы — глаза скосил, голову нет.

На Знаменской площади было около четырёмсот человек. По большей части — женщины: фабричные, в тёмных платках, в полушубках поверх юбок, в валенках. Среди них — несколько мужчин, немолодых, в шапках-ушанках. В руках у одной из передних — кусок беленной хол-

стины, написанный углём: ХЛЕБА И КРЕЩЕНИЯ. Эссен прочитал не сразу — буквы были подмазаны морозом. Не «и крещения нашим», не «и церкви». Просто «и крещения». Это значило: пришли просить, чтобы их признали крещёнными для исповедальной книги. Без книги — без хлеба.

Толпа стояла плотно. Не двигалась к канцелярии — стояла на месте, словно что-то держало её в строю. Голосов было мало. Слышен был только один женский голос, в середине, нараспев: «Господи, помилуй». Не молитвой — рефреном, на котором стояли. Остальные молчали. Пар изо ртов поднимался ровно, без всплесков.

С Лиговского, наискось, выходила дружина.

Их было сто двадцать — сто пятьдесят, мужчин лет от двадцати до сорока, в чёрных полушубках с белой нашивкой на левом рукаве. Полоса с шитым крестом, стандартной формы, по указу о духовной обороне. Шли строем по четыре, под двумя хоругвями впереди — святой Михаил Архангел и образ Казанской. Хоругви держали высоко, на полном древке. Впереди строя — не офицер, а архимандрит в чёрной рясе и в чёрной же мантии, с наперсным крестом, с посохом. Крепкий, плотный, не книжного склада, лет тридцати пяти. Шёл широким шагом, ровно, не сбиваясь.

Дружина пела. «Спаси, Господи, люди Твоя» — на четыре голоса, не нестройно. Голоса были громкие, звонкие, держались. На морозе минус двадцать восемь — без хрипоты, без перебоев. Крайний справа, в первом ряду, парень лет двадцати двух, с румяным лицом и светлыми бровями, пел, как поют в храме на праздник: с открытым горлом, прямой спиной, без напряжения. Полушубок на нём расстёгнут до второй пуговицы — в груди жарко.

Толпа путиловских стояла. Голос «Господи, помилуй» в середине упал.

Шарабан остановился у поворота на Гончарную, шагах в тридцати от площади.

Дружина дошла до площади и остановилась перед толпой. Архимандрит вышел вперёд, поднял посох — не как угрозу, как пастырский жест. Сказал что-то — Эссен не расслышал, ветер уносил. Толпа путиловских придвинулась на шаг, потом подалась обратно. Дружинники не били — обходили строй с боков, по двое, заводили крайних женщин под руки, не грубо, и вели в сторону, к Лиговскому.

— Это под перепись.

— Под перепись, Николай Оттович. Третья за месяц.

— Их не бьют?

— С декабря — нет. Берут под локоть, ведут в участок. По списку: кого впишут, кого этапом.

— Куда этапом?

— На Север. Лесозаготовки. Александро-Свирский монастырь — Лавра распределяет.

— Зимой.

— Зимой, Николай Оттович.

Эссен смотрел.

Молодая женщина в первом ряду толпы — та, у которой был холщовый плакат, — не сопротивлялась, когда её брал под руку дружинник. Шла спокойно. Эссен в этот миг увидел её лицо отдельно, потому что шарабан стоял удобно: лицо было серое, под глазами — синяки, не от удара, давностью. Губы потрескавшиеся. Не плакала. Шла, как идут к доктору, который скажет известное.

Дружинник, который её вёл, был тот самый светлобровый парень из крайнего ряда. Лицо — покрасневшее, смотрел чётко, дыхание не сбивалось. Он вёл её, как ведут больную тётку из деревни на станцию: не грубо, не жалея, без страха, что она может упасть. На неё он смотрел сверху вниз, спокойно. Не с презрением — внимательно. Как смотрит пастух на ту овцу, у которой что-то с копытом, и думает: до вечера дойдёт или нет.

Эссен этот взгляд видел три секунды. Запомнил.

— Поедем.

— Слушаюсь.

Шарабан тронулся по Гончарной, в обход площади, к Невскому через Знаменский переулок. Когда выезжали на Невский — пение дружины ещё доносилось, на четыре голоса, не сбившееся. «Спаси, Господи, люди Твоя».

Эссен это уже не слушал.

Сквозь меховую полость и доски шарабана — тот же гул, на полтона ниже того, что он помнил. И поверх — в носу, не в дыхании, — земля.

В Порт-Артуре, в августе четвёртого года, после прорыва «Новика» в Циндао, Эссен видел много. Видел горящих японских матросов в воде, видел собственного сигнальщика без головы, видел женский труп на берегу в Чжифу — китайка с младенцем, оба в воде по пояс, оба замерли в одной позе. Это было известное. Это была война.

Сегодняшнее на Знаменской — он не знал, как называть. Не война и не мир. Город, в котором поют со здоровыми лёгкими и берут серых под локоть.

Не война. Не мир. Что-то другое. Что-то пахнущее сырой землёй.

Шарабан вышел на Невский.

Невский был длинный и прямой. По центру — двойной ряд расчищенных трамвайных рельсов, по сторонам — прохожие, экипажи, грузовые сани. На стенах домов, у подъездов, у тумб — листовки указов, наклеенные слой на слой. У одной тумбы, на углу с Литейным, Эссен задержал взгляд. Верхний слой — свежий, белый, с двуглавым орлом и текстом про новый порядок исповедальной переписи, чёрная типографская краска. Под ним — край предыдущего, ноябрьского, желтоватого. Под тем — октябрьский. И ещё ниже — что-то, чего у него не складывалось в слово. Не текст, а россыпь литер, выходявших из-под нижнего края, коротких столбцов, без разрядки. Указ, который он не помнил, чтобы публиковали. Или который отменили.

Шарабан проехал. Тумба ушла.

Эссен моргнул один раз. Невский продолжался: Гостиный двор, Думская башня, Казанский мост.

У Казанского — двери собора были открыты настежь, обе. Из дверей шёл пар, как из бани, — тёплый воздух с тысячью дыханий встречал зимний минус двадцать восемь и оседал в виде белого облака на ступенях. На ступенях — в этот час, в полтора часа дня, — сидели и стояли с десятков женщин и стариков. Не нищие, не богомольцы, просто люди, которым некуда идти и которые греются у выходящего из собора пара. Пара хватало. Свечи внутри, видно было через распахнутые двери, горели сплошным неровным светом — сотнями.

Шарабан проехал и Казанский.

В носу запах земли подвинулся в сторону. Не ушёл — отступил. Эссен это отметил: при Казанском было слабее. С Адмиралтейской — снова сильнее.

Адмиралтейская площадь открылась к двум часам без четверти. Шпиль — золотой, чистый, на сером небе — стоял прямо, не косо. Над фронтоном главного входа — двуглавый орёл, расписанный масляной краской. Эссен на него посмотрел, потому что мимо смотреть не приходилось — шарабан подъезжал к подъезду наискось, и фронтон был виден долго.

Орёл был обычный.

Две головы — направо и налево. Между ними — короны, держава, скипетр.

Эссен моргнул.

В первый миг ему показалось — между двумя коронами, ниже их, в самой ложбине между двумя шеями, — третий силуэт, не голова, скорее намёк: пятно тени, формы, которая могла бы быть короткой шеей с третьим клювом, поднятым вверх. Краска там была чуть темнее. Слегка облупилась.

Эссен моргнул второй раз.

Орёл был обычный. Две головы. Между ними — пусто.

Шарабан остановился у подъезда.

Швейцар в ливрее — пожилой, в галунах, с медалью за усердие на груди, без шапки даже на морозе — открыл дверцу. Лицо было серое, глаза — слезились от ветра, или от чего-то ещё. Поклонился кивком, не наклоном.

— Ваше высокопревосходительство.

— Григорьев, — позвал Эссен вестового, не поворачиваясь, — портфель на подъезде, шинель оставь у швейцара.

— Слушаюсь.

Эссен поднимался по широкой каменной лестнице. Ренгартен — на полшага сзади, по правую руку. Под сапогами — мрамор, белый с серыми прожилками, протёртый до глади за сто лет. На верхней площадке — двойные двери в приёмную министра.

Запах — слабее. Здесь, в отапливаемой каменной коробке, запах земли почти не доходил. Почти.

В приёмной их ждали.

\* \* \*

Приёмная была в три высоких окна на Александровский сад, с двумя кожаными диванами по бокам и громадным портретом Александра Третьего над секретарским столом. Секретарь, штатский в зимнем сюртуке, поднялся, кивнул, доложил в дверь и тут же отступил. Эссен заметил: руки у него были покрасневшие, но не от мороза, а от привычной зябкости — таких людей грело только за чаем. Глаза у секретаря Эссен встретил на миг — в них дрогнуло, отступило, ушло в сторону, как от лампы. Секретарь не выдержал.

Двери в кабинет открылись изнутри.

— Николай Оттович.

Григорович вышел из-за стола сам — не заставил подойти. Высокий, ссутулившийся за зиму больше обычного, в чёрной адмиральской тужурке. Седина у него за два месяца, что Эссен его не видел, перевалила тёмные волосы окончательно — был седой не местами, а целиком, как припорошённый. Лицо — землистое. Под глазами — двойные лиловые тени, и над ними — вздутые от бессонницы веки. Подал руку. Рука была сухая, твёрдая.

— Иван Константинович.

— Заходите, заходите.

Кабинет был длинный, с тремя окнами на Александровский сад, тёмный — лампы на столах горели даже в начале третьего, потому что зимний свет на Адмиралтейской падал низко и не доставал глубины комнаты. По правой стене — карта Балтики и Северного моря, склеенная из четырёх листов, с приколотыми булавками. Под картой — длинный стол с разложенными бумагами. По левой — книжные шкафы и узкая дверь в смежную комнату. Перед окнами — рабочий стол Григоровича с двумя бронзовыми чернильницами и стопкой папок. У стола — четыре кресла полукругом. Три стояли пустыми, четвёртое — повёрнуто к окну.

В четвёртом кресле сидел человек в чёрной рясе.

У окна, справа, у самой рамы — стоял второй, в полковом мундире защитного цвета.

У карты, в левом углу, спиной к Эссену, стоял третий — сухощавый, в чёрной тужурке капитана первого ранга. Услышал шаги, обернулся. Непенин.

— Адриан Иванович.

Непенин подошёл, протянул руку. Рукопожатие у него было быстрое, крепкое. Смотрел в глаза прямо, не отводя. У Непенина лицо тоже было серое, но глаза — те самые, цепкие, какие Эссен помнил с пятнадцатого года, со станции связи в Гельсингфорсе. У Непенина бессонница на зрачках не отразилась.

— Николай Оттович. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

Эссен повернулся.

Тот, в кресле — встал. Сделал это плавно, в одно движение, не напрягая колен. Худой, среднего роста, в чёрной шерстяной рясе, с широким кожаным поясом и медной пряжкой. На груди — серебряный наперсный крест архимандритского чина и панагия с финифтью. Высокий лоб. Чёрные волосы коротко стрижены. Аккуратная молодая борода. Глаза — светло-серые, прямые. Посмотрел на Эссена не моргая, без неприязни и без приязни — как смотрят на стенку, у которой будет работа.

В левой руке — чётки. Не перебирал — держал.

— Архимандрит Гавриил, — сказал Григорович за спиной Эссена, очень спокойно. — Отец Гавриил, это адмирал фон Эссен, командующий Балтийским флотом.

— Адмирал.

Голос был тихий, без подъёма. Без поклона.

— Отец архимандрит.

Эссен кивнул один раз.

В носу — сухой смолистый ладан, не сильный. Шёл от рясы Гавриила вблизи. Поверх ладана — слабее, не назойливее, чем в шарабане, — тот же подвальный, земляной. Эссен в первый миг отнёс его к запаху самого Гавриила. Через две секунды понял, что нет: запах в кабинете присутствовал и до того, как Гавриил вышел вперёд. Шёл от форточки, слегка приоткрытой над угловой батареей.

Эссен повернулся ко второму — у окна.

Аввакум.

Эссен узнал его не сразу — в полковом мундире, а в Гельсингфорсе, в ноябре, Аввакум был в рясе. Сейчас — мундир защитного цвета с нашивками полкового священника, наверху панагия, поверх — наградной крест потемневшего серебра на гранатовой муаровой ленте, тёмная эмаль в средокрестии. Мундир сидел свободно — Аввакум сильно похудел. Стоял у подоконника, опираясь о него правой рукой. Левая — опущена. Лицо осунувшееся, скулы выступили. Кожа сероватая, без зимнего румянца. Светло-серые глаза в тёмных кругах. Тёмная борода короткая, без подравнивания. Волосы коротко, тонзура небольшая. Смотрел прямо, но в глазах — то, что у фронтовиков, которых Эссен видел раз в Кронштадте, перевязочной для контуженных: смотрят, и в них — как через тонкое стекло, за которым ещё что-то, не наружу.

Аввакум кивнул Эссену один раз. Не поклонился. Ничего не сказал.

В этот один кивок Эссен увидел знакомое.

Не лицо — посадку плеча. Правое чуть ниже левого, голова чуть наклонена в сторону этого правого. Так стояли у причала Кронштадтской гавани, без смущения, привычно.

Эссен в эту секунду опустил глаза. Не от смущения — от того, что не знал, куда деть совпадение.

— Адмирал, — сказал Григорович. — Прошу вас.

Эссен прошёл к столу. Сел в крайнее кресло, ближе к Григоровичу. Ренгартен — сзади, у двери, на стуле для штабных, не за столом. Непенин — к правому креслу, ближнему к карте. Гавриил — к креслу напротив Эссена. Аввакум остался у окна. Не сел.

Григорович сел последним, медленно, с тем подавленным шумом в груди, который у него был всегда после простуды семидесятого года и который Эссен знал по двадцати годам службы под ним.

— Кофе или чай?

— Чай.

Григорович кивнул в сторону двери. Секретарь вышел, прикрыв дверь за собой беззвучно.

Тишина продержалась три секунды.

— Николай Оттович, — начал Григорович. — Приказ номер семьдесят восемь-Б из Ставки получили двадцать четвёртого декабря. По морскому ведомству — двадцать пятого. Я вам передал двадцать шестого. Вы проработали в штабе. У вас вопросы?

— Сначала — условия.

— Условия. Да.

Григорович пододвинул папку. Раскрыл. Вынул лист. Положил перед Эссеном — не подал, а положил на средину стола, одинаково доступный обоим.

Эссен прочитал.

Лист был синодальный — двойной герб в шапке, со свидетельскими подписями справа, с большой круглой печатью внизу. Текст в десять пунктов. Эссен пробежал глазами — читал не быстро, но и не сильно вчитываясь. Структура была знакомая по двум прежним подобным.

Пункт первый: к экспедиционному отряду прикомандировать пятьдесят архимандритов и сто иеромонахов синодального утверждения, с правом самостоятельного освидетельствования экипажей.

Пункт второй: на флагмане — постоянное пребывание архимандритского комиссара Синода с правом надзора за духовным состоянием командующего и старшего офицерского состава.

Пункт третий: список из ста семидесяти двух офицеров и нижних чинов, подлежащих переводу на берег по причине духовной неблагонадёжности — иноверцы, староверы, иудеи, не причащавшиеся свыше года.

Пункт четвёртый: обязательные ежесуточные молебствия на каждом корабле похода, в составе утреннего и вечернего, без сокращения, в полном чине.

Пункт пятый: запрет ношения нерегламентированных нательных крестов — обмен на синодально-утверждённые перед выходом.

Эссен дочитал до десятого. Поднял глаза.

— Иван Константинович.

— Слушаю.

— Это не условия. Это — занятие флота.

Григорович не возразил. Смотрел на лист, не на Эссена.

— Адмирал, — заговорил Гавриил. — Позвольте.

Эссен повернул голову.

Голос у Гавриила был тот же, что и при представлении — тихий, размеренный, с правильным книжным русским. Не повышенный. Не убедительный. Не зывающий. Просто — звучащий.

— Флот идёт за Британию. На воду, которой Россия не знает. Бог и вера людей спасли флот двадцать седьмого ноября — это так, по рапорту командующего и по донесениям. Один священник на корабле — этого хватило в ноябре. Сейчас мы говорим о шестнадцати кораблях похода в чужой воде на полгода и больше. Один на корабле — арифметически не покрывает. Иеромонах Иннокентий — заслуженный, мы его знаем, и Синод его благословляет, но он один. Синод даёт ещё пятьдесят пастырей.

— Архимандритов.

— Архимандритов. И сто иеромонахов в подчинении. И комиссара — третьим пунктом. По уставу — архимандрит на дредноут, иеромонах на крейсер.

— У меня в походе — ни одного дредноута. Дредноуты остаются в Финском заливе.

— Тогда — архимандриты на броненосные крейсера, иеромонахи на лёгкие.

— Полтора на шестнадцать кораблей. По девять на каждый.

— По девять — счёт без замен и резерва. На действительной службе — по три-четыре. Этого хватает только в спокойную ночь.

- Три комиссара на корабль.
- Три пастыря, адмирал. Каждую ночь служба. Без неё — известно что.
- Это разлагать дисциплину.
- Это держать корабль до утра.

Никто за столом не уточнил «известно что». У каждого было своё. У Эссена — каюта «Севастополя» в ноябре. У Григоровича — сводки Балтфлота с конца ноября, под двойным грифом. У Непенина — донесения с побережья, которые в Ставку не уходили. У Ренгартена — те две страницы, которые он переписывал собственной рукой, потому что писарь переписывать отказался. У Гавриила — фронт, через Аввакума.

У Аввакума — то, что стояло за глазами. Аввакум у окна не двинулся.

Никто ничего не сказал.

В носу запах земли подвинулся ближе. Не сильнее — ближе. Ощущение было такое, что форточка над батареей открылась шире на полпальца. Эссен на форточку не оглядывался.

Он знал, что один Иннокентий шестнадцати кораблей не покрывает. Знал это с двадцать седьмого ноября, когда Иннокентий после стада сказал ему в каюте «Кречета»: «Сегодня — это не я. Это хор». Знал по донесениям Демидова с «Баяна», по рапортам с эсминцев. Шестнадцать кораблей в чужой воде, на полгода — арифметика была против него. Священники нужны. Это не обсуждалось.

Обсуждалось — кто и с какими полномочиями.

Указ шестнадцатого года, поглотивший управление протопресвитера военного и морского духовенства, закрыл единственный канал, по которому Эссен мог бы получить капелланов помимо Синода. До войны Шавельский раздавал полковых иеромонахов сам, согласовывая с военным ведомством. Теперь и полковых, и морских кладёт Синод. Это Эссен знал. Не пытался обойти. Знал, что обойти негде.

Письмо Григоровичу, написанное на «Кречете» двадцать пятого декабря, лежало в сейфе не отправленным. В письме Эссен просил не другого канала — другого канала не было. Он просил, чтобы Григорович через своё положение морского министра ходатайствовал перед Синодом о пересоставе списка: иеромонахов-пастырей вместо архимандритов-комиссаров, со снятием пункта о праве самостоятельного освидетельствования командующего. Письмо он не отправил — приказ из Ставки пришёл двадцать шестого, и встречный лист Синод подписал раньше, чем Эссен успел положить своё письмо в курьерскую папку.

Сейчас этот синодальный лист лежал перед ним.

«Пятьдесят пастырей» Гавриила — пастырями не были. По третьему пункту того же листа они имели право самостоятельного освидетельствования экипажа и командующего. Это были архимандриты-комиссары с надзорным полномочием. Не священники для команды — священники над командующим.

Эссен не возражал против пятидесяти капелланов. Он возражал против пятидесяти комиссаров.

— Пятьдесят — много. Состав иной.

— Адмирал?

— Десять архимандритов на крупные корабли. Тридцать иеромонахов на лёгкие силы — по одному на корабль. Без надзорного пункта.

Гавриил помолчал.

— Без какого надзорного пункта?

— Третьего. Право самостоятельного освидетельствования командующего и старших офицеров — снять.

— Адмирал. Это — суть пастырского служения архимандрита на корабле, идущем без епископского окормления. Кто-то должен освидетельствовать.

— Иннокентий. Иеромонахи. Не архимандрит-комиссар.

— Иеромонах не может освидетельствовать архимандрита. По чину.

— А архимандриту не нужно освидетельствовать командующего.

— Адмирал. Командующий — главный носитель духовного состояния флота. Это не моё мнение, это указ.

— Архимандрит. Я в указе исполнитель, а не подопечный.

Гавриил долго смотрел на Эссена. Не моргал.

— Адмирал. Это послушание.

Гавриил это сказал с той же интонацией, с какой говорил всё предыдущее. Голос не повысился. Чётки в левой руке не дрогнули. Но фраза легла в кабинет иначе, чем предыдущие, — словно он переменял инструмент в руках, не показав этого.

Эссен это услышал. По надзорному пункту Гавриил не уступит. Снять надзор — для Гавриила значило снять самого себя. Он не ради числа сюда послан. Эссен это понял в эту секунду окончательно. До конца разговора пытаться выторговать снятие надзора — бесполезно.

Оставалось — число и состав внутри числа.

Эссен посмотрел на Григоровича.

Григорович смотрел на лист.

— Иван Константинович.

— Николай Оттович, — Григорович поднял глаза. Под усталыми тенями глаза были прямые, без увёрток. — Синод давит. Государь читал. Его Величество поставил резолюцию на полях: «Согласен в существе, прошу с адмиралом договорить о цифре». Тридцать общим числом.

— Состав?

— Восемь архимандритов, считая отца Гавриила старшим. Двадцать два иеромонаха. На лёгкие силы — иеромонахи, на броненосные крейсеры — архимандриты по двое на корабль. Это потолок снизу — двадцать, физически разместить смогу. Тридцать — туго, но размещу. Пятьдесят — невозможно.

— Двадцать пять. Шесть архимандритов.

— Тридцать, Николай Оттович. Государь подписал.

Гавриил сказал, не повернув головы:

— Это послушание, адмирал.

Эссен на эту третью «послушание» промолчал. Понял, что Гавриил будет повторять её при каждой попытке торга по существу, и понял также, что Гавриил не торгуется — Гавриил закрывает. Закрывание — это его инструмент. Не убеждение.

— Тридцать, — сказал Григорович. — Восемь архимандритов на крупные корабли. Двадцать два иеромонаха на лёгкие. По разнарядке Синода с моим согласованием по списку — я снимаю крайних. Имеете право вето на трёх: на одного архимандрита и на двух иеромонахов.

— На пятерых. Двух архимандритов и трёх иеромонахов.

— На четырёх. Одного архимандрита и трёх иеромонахов.

— Записано.

Эссен кивнул. Григорович кивнул в ответ.

Тишина.

— Иноверцы, — сказал Эссен. — Сто семьдесят два.

— Адмирал, — Гавриил. — Этот пункт мы готовы обсуждать. Список отец Аввакум составил в ноябре по всему Балтийскому флоту. Сто семьдесят два — балтийский набор, не походный. Ваш походный отряд — пятнадцать тысяч человек. По нашему свежему расчёту на поход — около девятисот семидесяти иноверцев. Из них — пятьдесят семь офицеров, остальные — нижние чины. На берег с похода переведём всех нижних чинов. Офицеров — обсуждаемо.

— Офицеры — категорически нет.

— Адмирал. Иноверный офицер на корабле, идущем под Андреевским флагом, в тысяча девятьсот семнадцатом году...

— Архимандрит. Я — иноверный? До перекрестившегося деда?

Гавриил закрыл глаза на секунду. Поклонился — без поклона, кивком, глубже обычного. Открыл.

— Адмирал. Лично вы — нет. По указу о духовной обороне — вы православный по матери, что бы ни писали по фамилии. Это в Синоде не обсуждается.

— А мой флаг-офицер?

Гавриил повернул голову — медленно — к Ренгартену у двери. Посмотрел на него три секунды. Ренгартен сидел, не отводя глаз. Не двинулся.

У окна — Аввакум. На «иноверный» — повернул голову один раз. Тоже три секунды. На Гавриила, не на Эссена. Не сказал ничего.

Гавриил вернул голову к Эссену.

— Капитан второго ранга Ренгартен — лютеранин по отцу, православный по матери. По указу подходит. По хору в ноябре — известно. Синод его не трогает.

Эссен на «известно» не отозвался. Хор Ренгартена в ноябре никто из присутствующих не видел — известие пришло через рапорты Иннокентия и собственный штабной. Гавриил знал.

— Аввакум, — сказал Эссен.

Аввакум обернулся от окна. Смотрел.

— По вашему ноябрьскому списку — пятьдесят четыре иноверца на флоте в целом. Сегодня — девятьсот семьдесят на пятнадцать тысячах. Откуда выросло?

Аввакум молчал. Эссен ждал.

Гавриил ответил за него:

— По списку отца Аввакума было пятьдесят четыре первой категории — то есть тех, кому требовался немедленный перевод. Девятьсот семьдесят — это вторая и третья категории по тому же списку, отец Аввакум их не озвучивал в Гельсингфорсе, потому что вторая и третья тогда не подлежали действию. Сейчас — подлежат.

— Кто перевёл вторую и третью в действие?

— Указ от двенадцатого декабря. Подписан Государем.

Эссен кивнул один раз.

— Офицеры — категорически нет, — повторил он. — Обсуждать не буду.

— Адмирал...

— Архимандрит. Я в этом пункте не уступлю. Пишите рапорт, я подпишу: «командующий отказал в переводе офицеров по причине невозможности укомплектования штатов в походных условиях».

— Это будет рассмотрено в Синоде.

— Рассматривайте.

Гавриил кивнул, не возражая. Чётки в левой руке не дрогнули. Эссен посмотрел на эти чётки — тёмное дерево, шестнадцать зёрен, не больше — и заметил, что Гавриил их не считает. Просто держит. Как держат рукоять, не нож.

Эссен помолчал.

Перевёл глаза от чёток на Аввакума — у окна. Тот стоял всё так же, правое плечо ниже левого, не оборачиваясь. Эссен говорил Гавриилу — но смотрел на это плечо.

— Отец архимандрит. Корабль не идёт на одной топке. И не на одном сорте угля. Котлы разные, машины разные. Выкинуть половину — встанет посреди моря.

Помолчал.

— Так и здесь. Татарин — у топки, на своём языке. Старовер — у орудия, двумя пальцами. Юродивый — где придётся, без слов. Каждый — на своей ноте. Все вместе — держат корабль до утра. Уберёте одну ноту — пойдём по чужой воде.

- Гавриил опустил глаза в стол. Один раз. Чётки в левой руке остались как были.
- Идём дальше. Молебствия.
  - Утренние и вечерние. Полный чин, — Гавриил.
  - Полный чин — сорок минут. Сорок утром, сорок вечером — час двадцать в день у всего экипажа на молитве. На переходе — невозможно. Сокращённый чин — десять минут, утром и вечером.
  - Сокращённый — пятнадцать.
  - Пятнадцать.
  - Записано, — Григорович.
  - Кресты.
  - Обмен на синодально-утверждённые перед выходом, — Гавриил.
  - Категорически нет. Дедовские кресты не меняются.
  - Адмирал.
  - Категорически нет, отец архимандрит. У меня в экипаже — старообрядцы. У них кресты восьмиконечные, литые, по двести лет. Менять — оскорбление, которого экипаж не вынесет.
  - Старообрядцы — отдельный вопрос.
  - Старообрядцы — мои матросы, отец архимандрит. Они стояли под огнём в ноябре. Идут на Канал. Кресты — мои, не Синода.
  - Государь подписал...
  - Отец архимандрит. Я подписываю отказ. Под мою ответственность. Кресты не трогать. Гавриил долго молчал. Потом — кивнул.
  - Записано, — Григорович. — С оговоркой: новые поступления в экипаж — синодально-утверждённые.
  - Согласен.
  - Эссен посмотрел в лист. Прошёлся по оставшимся пунктам — седьмой, восьмой, девятый.
  - Восьмой. Крест на мачте каждого крупного корабля, — Гавриил.
  - На «Севастополе» уже стоит. С конца ноября, по приказу Иннокентия. Лампадка под крестом, не гасится. Священник посменно — при свече.
  - Распространить на всех крупных. Литой бронзовый, золочёный. На верхушке грот-мачты. Лампадка — корабельная. Освящение в Кронштадтском соборе перед выходом. Свеча гасится только в шторм.
  - Согласен.
  - Этот пункт Эссен не оспаривал. На «Севастополе» крест поставили после двадцать седьмого ноября, и Эссен с тех пор не видел причин его снять. Помогал ли он — Эссен не знал. Не убрал.
  - Записано, — Григорович.
  - Седьмой и девятый — отбил часть, на половине уступил.
  - К сорок второй минуте разговора лист был обсуждён. Григорович вызвал секретаря. Секретарь вошёл, забрал лист, унёс на правку.
  - Григорович откинулся в кресле. Посмотрел на Эссена. Долгий взгляд.
  - Николай Оттович.
  - Слушаю, Иван Константинович.
  - Колчак рвётся.
  - Эссен поднял глаза.
  - На Канал?

— На Канал. И на Босфор. Уже неделю. Шлёт записки через Алексева, через Григория Михайловича, через всех, кого может. Пишет — «дайте, я пойду». Молодой, горячий, с черноморским флотом, с Дарданелльской операцией в голове, ещё с Дарданелльской.

— Адмирал Колчак — командует Чёрным морем.

— И мог бы дойти до Канала через Средиземку. По бумаге — мог бы.

— Иван Константинович.

— Я отказал, — сказал Григорович негромко. — Две причины. Первая — флот ему собирать с нуля, через Гибралтар, с французами, это июнь-июль. Британцы до июля не выдержат.

— Вторая?

— Вторая важнее.

Григорович посмотрел на Гавриила, потом на Эссена.

— Колчак пошёл бы без Синода. Он пошёл бы один — с собой, с офицерами, с линкорами — без архимандритов, без молебствий, без списка. Вы знаете Колчака. Вы знаете, как он управляет.

— Знаю.

— Мы не можем себе позволить — флот без Синода. После Корниловского. После Румынского. После того, что было в ноябре с вашим флотом. Государь — не позволит. Синод — не позволит. И я — не позволю.

Григорович помолчал.

— Поэтому идёте вы. Не Колчак.

Эссен смотрел на него.

— Вас выбрали, Николай Отгович, — Григорович говорил тихо, листал угол папки, — не потому, что вы лучший адмирал на флоте. Колчак лучше как тактик. Не потому, что у вас опыт. Канин старше по службе, пройдёт проливы не хуже. И не потому, что я вас люблю. Это к делу не относится. — Поднял глаза. — Вас выбрали потому, что вы — уступите. По всему. Как сейчас.

В носу — земля.

В правой ладони — тёплое, словно ладонь держала что-то живое.

Через окно — над крышами Адмиралтейской площади, над голубятней соседнего дома — поднимался слабый дым от чьей-то печной трубы, тёмный, не белый.

Гавриил смотрел в стол. Чётки — в левой руке. Не дрогнули.

Аввакум — у окна. На Эссена не смотрел. Смотрел в окно, на дым.

Непенин — рядом, в кресле у карты. Молчал. Достал клочок бумаги из нагрудного кармана. Посмотрел на него секунду. Убрал обратно, не глядя. Эссен это уловил боковым зрением.

Григорович — в кресле, седой, ссутулившийся, не глядя на Эссена.

Эссен сказал:

— Иван Константинович.

— Да.

Он не нашёл слова сразу. Сказал то, которое сложилось:

— Я понимаю.

И больше ничего не сказал.

Тишина продержалась минуту. Не три секунды — минуту. За окном, на улице, проехал экипаж, глухо по снегу. Кто-то в коридоре уронил папку — звук был ясный, через дверь. В той же трубе прогудело — короткий, низкий гул — и стихло.

В носу — земля, ближе к форточке.

Григорович поднял лист, на котором секретарь уже переписал условия по торгу. Подал Эссену. Подал перо.

Эссен прочёл. Подписал. Вернул.

— Срок похода, — сказал он, выдержав голос. — Март, после ледохода в Ботнике.

— Март, — Григорович. — По донесению Бирилева — пятнадцатое-двадцатое, в зависимости от ветра.

— Хорошо.

— Состав вы с Непениным согласуете до отъезда. Завтра утром.

— Состав — флагманом «Рюрик», — сказал Эссен, не вставая. — «Адмирал Макаров», «Баян». Три эсминца типа «Новик». Три подлодки. Без «Севастополя».

— Девять метров осадки, — Непенин, негромко. — У датчан в проливе семь с половиной. Не пройдёт.

Григорович не возразил.

— Хорошо.

Григорович встал.

Эссен поднялся вместе с ним. Гавриил — плавно, без шума. Аввакум у окна не двинулся.

— Адмирал, — Гавриил поклонился. Кивком, не наклоном. — Молебен в церкви Адмиралтейства — через час. Я буду служить. Жду вас.

— Приду.

Гавриил повернулся, прошёл к двери. Прежде чем выйти — остановился у порога. Обернулся к Аввакуму. Аввакум смотрел в окно. Гавриил подождал секунду. Аввакум не повернулся. Гавриил вышел.

Григорович подал Эссену руку второй раз. Рука была всё та же — сухая, твёрдая.

— До церкви, Николай Отгович. Я вас провожу.

— Спасибо, Иван Константинович. Я с Адрианом Ивановичем поговорю в коридоре.

— Хорошо.

Эссен повернулся к окну.

— Отец Аввакум.

Аввакум обернулся.

— Извините, что отнимаю.

— Адмирал.

— Сколько ещё в Петрограде?

— До завтрашнего вечера.

— Я зайду в Лавру перед отъездом.

Аввакум кивнул. Не улыбнулся. Не сказал «буду рад». Просто кивнул.

Эссен вышел из кабинета первым. Ренгартен — за ним. Непенин — следом, на ходу проверяя клочок бумаги в нагрудном кармане ладонью, не доставая.

В коридоре у двери — секретарь со стопкой папок, глаза опущены, не поднял взгляда.

Эссен прошёл мимо. Десять шагов вдоль коридора. Остановился у окна, выходящего на сад. Положил ладонь на холодный мраморный подоконник.

Под ладонью — мрамор холоднее обычного, ненамного, но заметно.

Он стоял минуту. Не оборачивался.

Непенин остановился в трёх шагах за спиной. Подождал.

— Адриан Иванович.

— Слушаю.

Эссен полуобернулся, кивнул на окно. Непенин подошёл, встал рядом — справа, у того же подоконника. Лицом к саду, не к Эссену.

Молчали. За окном — пустой Александровский сад, ни одного прохожего. Снег на тропинке отбит лопатой, но за час по нему никто не прошёл.

Лицо у Непенина — серое, как и весь Петроград. Глаза — те же цепкие, не сданные. Седеющие виски. Усы коротко подстрижены.

— Григорович сказал — «уступите».

— Сказал.

— Он не про характер.  
— Не про характер, Николай Оттович. Про список.  
— Колчака почему вычеркнули?  
— Скандал. Колчак архимандрита выгонит из каюты на третий день. До Гибралтара не дойдут.

— Канина?

— По болезни. С декабря.

Эссен помолчал.

— А меня — потому что вытерплю.

— Вытерпите, Николай Оттович. До конца похода.

Эссен снял ладонь с подоконника.

Непенин достал клочок бумаги из нагрудного кармана. Не показал. Подержал в ладони.

— Адриан Иванович.

— Да.

— Когда я приеду на «Кречет», у меня в каюте будет пакет от вас. С тремя именами.

— Слушаюсь.

— Не три. Пять. По синодальному списку.

— Из тех, кого нам положат?

— Раньше, чем мне передаст архимандрит. У меня вето на четырёх. Хочу знать, кого вычёркивать, не глядя в его лицо.

— Слушаюсь.

— И ещё. Имя Колчака в эфире не зацепите. Чёрное море — не моё.

— Слушаюсь.

Непенин убрал клочок в карман. Сделал полшага назад.

В коридоре послышались шаги — лёгкие, неспешные, с лёгким приволакиванием правой ноги.

Эссен повернулся.

Аввакум.

Шёл по коридору вдоль стены, в полковом мундире, хромя. Подошёл, остановился в полуторе шагах. Посмотрел. Лицо у него было то же, что в кабинете — открытое, серьёзное, без выражения.

— Простите, Николай Оттович.

— За что, отец Аввакум?

— За Гавриила.

Эссен помолчал две секунды. Кивнул.

— Идите, отец Аввакум.

Аввакум кивнул в ответ. Развернулся медленно, на здоровой ноге, и пошёл назад по коридору к двери кабинета. Шаги — лёгкие, с тем же приволакиванием.

Эссен смотрел ему вслед.

Посадка плеча была — дедовская.

Эссен закрыл глаза.

Когда открыл — Аввакум уже скрылся за дверью.

В носу — земля, дальше от форточки.

Непенин рядом — молчал.

За окном — пустой Александровский сад. Ни одного прохожего. Тропинка между чугунной решёткой и деревьями была отбита лопатой — но до полудня по ней никто не прошёл.

\* \* \*

Церковь Адмиралтейства — церковь Святого Спиридония Тримифунтского — стояла во внутреннем углу здания, не выходя на улицу: вход с парадной лестницы, через широкий каменный проход. Освящена была в начале сороковых годов, при императоре Николае Павловиче. Эссен бывал в ней дважды — в сорок четыре года, в день перевода с Чёрного моря на Балтику, и год назад, на отпевании капитана первого ранга Фёдорова, погибшего на минной постановке у Дагерорта. Между двумя посещениями — двенадцать лет.

В третий раз вошёл в начале четвёртого. Шинель оставил швейцару у входа в коридор, перед нею — фуражку. Перчатки — снял на пороге храма, как полагалось, и сунул в боковой карман тужурки. На груди — крест Святого Георгия и Андреевская лента. Ленту по уставу при молебне в военной церкви не снимали.

В храме было тепло. Не как у Казанского — а как в небольшом домовом храме, где топили дровами и где тепло держалось от тел собравшихся. Ламповый свет — низкий, жёлтый. Свечи — стояли горящими на трёх подсвечниках перед иконостасом и на двух у амвона. Пахло восковым дымом, маслом лампад, потом мужских тел в шерсти.

Запах сырой земли — отступил.

Не ушёл — отступил на шаг. Эссен это отметил так же, как отметил у Казанского: ослабел, не пропал. Где-то в углу, у двери, был, но не давил. На амвоне — не был.

Через каменный пол храма — гул, тот же, что в купе и в кабинете, но тут — глуше, как через толстую стенку. Ладан мешал.

Народу было немного — человек тридцать. Старшие офицеры Морского министерства, два-три адмирала в отставке, несколько штатских из гражданских отделов. У бокового подсвечника, в углу, — двое нижних чинов: вестовой одного из отставных адмиралов и матрос-послушник из служителей храма, в чёрной рабочей бескозырке без ленты. Григорович был уже там — стоял в правом приделе, у иконы Святого Николая, в шинели нараспашку, без головного убора, с опущенными руками. Непенин — рядом, на полшага позади. Ренгартен — за Эссеном.

Архимандрит Гавриил служил.

В полном облачении — тёмно-синяя фелонь с золотым крестом на спине, золотая епитрахиль, поручи, наперсный крест архимандритского чина, панагия. Ризы тяжёлые — но у Гавриила движения были не тяжёлыми. Ходил по солее размеренно, без сбоев, с той же экономностью, что и в кабинете. Ему помогали два иеромонаха — оба молодые, лет тридцати, в синодальном чёрном, с гладко подстриженными бородами. Стояли в боковых местах, по знаку Гавриила выходили подавать кадило, бумагу, чашу.

Эссен встал в первом ряду, по правую руку от центрального аналоя, как полагалось командующему Балтийским флотом. Сапог под ним нашёл стёртое место в каменном полу — вмятину от сотен подошв за восемьдесят лет, и встал в неё. Привычка с двенадцатого года, со Спиридония.

Гавриил начал.

Голос у него в храме оказался иной, чем в кабинете. В кабинете — тихий, размеренный, без подъёма. В храме — тот же тембр, но без сдержки. Пошёл в полный объём купола. Эссен не помнил, чтобы в кабинете слышал у Гавриила такой голос. Это был служебный голос — тот, которым служат в монастырях по двадцать лет. Звучал без напряжения связок, без уставания. У Гавриила в этом голосе было что-то, чего у Иннокентия не было ни на «Севастополе», ни на «Кречете», — запас. Иннокентий служил с нагрузкой. Гавриил — без неё.

«О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.»

Хор — два иеромонаха и шестеро штатных певчих в синих кафтанах — подхватили: «Господи, помилуй». На три голоса, не в полную силу — храм маленький, не требовалось.

«Господи, помилуй.»

Эссен опустил глаза в пол. Камень под подошвами был стёртый, серый, с тёмными прожилками от воска. Между стертостями — мелкая трещина, шла наискось.

«Господи, помилуй.»

Слушал.

В этом «помилуй» — у бокового подсвечника, в углу, — один голос пошёл раньше других на полтакта. Не вестового — другого, того, что в бескозырке без ленты. Эссен услышал краем уха, не поворачивая головы. И отметил: Гавриил, стоявший лицом к иконостасу, не повернулся, но глаза перевёл — короткое движение зрачков влево-вниз, в сторону угла. Полсекунды. Потом — обратно. На пении не отозвалось ничем.

Эссен видел это через отблеск свечи в полированном серебре оклада ближайшей иконы. Понял, что Гавриил услышал. Чего именно Гавриил услышал — Эссен не понял.

Молебен — путный, как полагалось перед выходом командующего в дальний поход. Особый чин, по дореволюционному уставу — не полный, не сокращённый, с прибавлением тропаря Святому Николаю, покровителю мореплавателей. Гавриил вёл его без сокращений. Это Эссен отметил: длинный чин, у Иннокентия на «Севастополе» обычно укорачивался — а тут шёл в полном виде. Время — было у Гавриила. Запас был.

Через десять минут — тропарь святому Николаю.

«Правило веры и образ кротости, воздержания учителя...»

У Гавриила в правой руке — кадило. Кадил он ритмично, без срывов. Цепи кадила позванивали — сухо, чисто, без той глухоты, которую Эссен помнил с «Севастополя», где цепи у Иннокентия были истёртые, в смазке. Здесь цепи звенели как новые. Кадило — серебряное, с гравировкой, явно недавнего изготовления.

Эссен поднял глаза.

Посмотрел на руки Гавриила.

Руки у архимандрита были — белые, длинные, без шрамов. Ногти подстрижены коротко. Пальцы — узкие, гибкие, пальцы человека, который держит карандаш и кадило, не штык и не лопату. Один тонкий перстень с красным камнем на безымянном — Эссен отметил мимоходом. Предплечье — под рукавом фелони — узкое.

Эссен посмотрел на эти руки и подумал — на одну секунду — короткую, жёсткую вещь, которую бы не повторил вслух ни жене, ни Григоровичу, ни самому себе на бумаге.

«Винтовку не держал.»

Эссен опустил глаза обратно в пол. Подумал — две секунды. Задавил.

Запах земли в этом углу храма — отсутствовал. Ладан, воск, тёплое.

Эссен перекрестился — на третьем «Господи, помилуй».

Перекрестился двумя пальцами, по-флотски, не широким кругом. Привычка с детства — рука пошла как обычно.

Ренгартен за спиной — не крестился. Эссен это знал, не оборачиваясь. Лютеранин на православной службе стоял прямо, руки сложены на животе, голова чуть наклонена. По уставу — допустимо: иновёрный офицер при общей службе не обязан осенять себя крестом. Гавриил это знал. Не смотрел на Ренгартена.

В пятый раз кадило прошло над иконостасом.

«Богородице Дево, радуйся...»

Эссен это пел мысленно, не вслух — губы шевельнулись беззвучно. Маша знала молитву наизусть — пела её утром перед иконой в спальне, тихо, без свидетелей. Эссен слышал её только однажды, через полуоткрытую дверь, в апреле двенадцатого, когда возвращался из штаба раньше времени. Тогда подумал — что не следовало слушать. Сейчас вспомнил — почему слышал тогда отчётливо, а теперь не мог восстановить мелодию.

Маша.

Слово прошло, как проходило весь день — без адресата.

Гавриил продолжал.

«О еже сохранитися кораблем плавающим в мори...»

Это была корабельная вставка, особая, для путного молебна. Эссен её знал по «Севастополю» и «Кречету». Иннокентий читал короче — Гавриил вёл в полном чине, со всеми прибавлениями. Хор подхватил.

«Господи, помилуй.»

Эссен смотрел на иконостас.

Иконостас в Спиридонии был четырёхъярусный, относительно новый, начало девяностых — старый сгорел в восемьдесят четвёртом и был обновлён. Иконы — академического письма, с резкими светотенями, не древнеписьмо. Посередине — образ Спасителя, по бокам — Богородица и Иоанн Предтеча, выше — двенадцатые праздники, ещё выше — пророки. Эссен помнил из прежних посещений, что икона Спаса в этом иконостасе была — слабая. Не в смысле качества — в смысле намоленности. Новая. Триста человек прикладывались к ней за двадцать лет, не больше. Сравнивая с Кронштадтским собором, где на иконе Святого Николая краска была стерта прикосновениями за двести лет, — здесь иконы были ещё чистые, не источенные.

В это Эссен подумал на секунду — про намоленность — и опустил.

В нос вернулся запах земли.

Тонкий. Не сильный. Шёл не от двери — изнутри пола, словно из-под камня. Эссен на него посмотрел через подошвы. Камень был обычный, серый, с прожилками воска. Запах — без источника.

Эссен перевёл взгляд обратно на Гавриила.

Гавриил продолжал служить.

Запах — рос. Слабо. Не настолько, чтобы Эссен заметил это в первую секунду — он понял, что запах усиливается, только когда поймал себя на том, что вдыхает реже. Дыхание у него стало неглубоким — само, без волевого усилия. Это бывало с ним в Порт-Артуре, в августе четвёртого, в каземате под второй артбатареей, когда японский фугас попал в погреб и через щель тянуло порохом и мёртвым. Тогда дыхание стало неглубоким — это и спасло, лёгкие приняли меньше.

Сейчас никакого фугаса не было.

Был ладан. Воск. Тёплое от тел. И — поверх — тонкий, нарастающий, тот же подвальный.

Эссен не оглянулся. Не оглянулся бы и в Порт-Артуре, и в Цусиму, и сейчас.

Подумал коротко: «Если в храме пробивается — значит, в храме хуже, чем я думал, или в храме сильнее, и оно отступает не сразу. Или — не отступает.»

Не записал бы в журнале. Сказал самому себе и убрал.

Гавриил кадил в этот момент над крайней правой иконой — Святой Николай Угодник, образ восемнадцатого века, темнее остальных. Цепи кадила позванивали. Лампада под иконой колыхнулась, не от ветра — от воздушной волны кадила.

Лампада качнулась — и встала.

Эссен смотрел.

Качнулась. Встала. Качнулась снова — раз, два — и встала окончательно, ровно над огоньком, не раскачивая.

Только лампада под Николаем — другие шесть лампад в храме горели прямо. Эта — качнулась дважды и встала.

Эссен внешне не дрогнул. Внутри отметил. Записал в той части памяти, в которой он держал такие вещи с двадцать седьмого ноября, — без формулировки, только в виде факта.

Гавриил — на лампаду посмотрел. Долю секунды дольше, чем нужно было кадящему. Не перекрестился иначе, чем перекрестился бы. Не задержал ритм. Только глаз стоял на ней, пока огонь не выправился.

Гавриил отошёл от иконы.

На службу это не повлияло.

«...Господу Богу нашему помолимся.»

«Господи, помилуй.»

Хор. Камень под подошвами. Восковой дым. Запах — медленно отступал, не сразу.

Эссен дослушал до конца.

Молебен длился сорок минут. К концу — Эссен подходил к кресту вместе с остальными офицерами. Гавриил протягивал крест, лица не выражая. Эссен приложился — губами, без задержки. Крест был тёплый — от рук Гавриила, не от своего тепла.

Когда отходил — на одну секунду глаза встретились.

Гавриил смотрел прямо. Без приязни и без неприязни. Видел в Эссене того, кого соби-  
рался в каюте флагмана в марте сесть и окормлять.

Эссен опустил глаза. Прошёл мимо. Встал у двери, вместе с Григоровичем и Непениным.

Григорович перекрестился в третий раз — широко, по-старому, у священника-кресто-  
носца. Непенин — экономно, флотским движением. Ренгартен — стоял прямо, не двигаясь.

В дверях храма, прежде чем выйти в коридор, Эссен остановился на полшага.

В храме, у амвона, Гавриил снимал поручи, иеромонах подносил поднос. Лампада под  
Николаем — горела, не качаясь.

Эссен повернулся и вышел.

В коридоре — холодно. Запах сырой земли — встретил у порога, плотный, не отступа-  
ющий.

Эссен принял шинель от швейцара. Перчатки — из бокового кармана. Фуражку на  
голову.

— Иван Константинович.

— Слушаю.

— До дочери — на казённом?

— Вас отвезут. Я приеду к семи. Маша вас ждёт.

— Спасибо.

Григорович пожал руку третий раз. Рука была всё та же. Сухая. Твёрдая.

Эссен повернулся к Григорьеву. Вестовой стоял в двух шагах, с портфелем у бедра. Эссен  
сделал ему знак подойти. Григорьев подошёл.

— Передайте Хортону, — сказал Эссен, не повышая голоса, — что я через две недели в  
Розайте. Пусть зайдёт в Александровские бани, если будет возможность.

— Слушаюсь.

— Через нашу станцию связи. Не через адмиралтейскую.

— Слушаюсь.

Григорьев отступил.

Эссен вышел на парадную лестницу. Под сапогами — мрамор. Снизу, через двери, тянуло  
холодом.

В носу — земля.

Перчатку он надевал стоя на верхней ступени, медленно, по одному пальцу.

Маша.

\* \* \*

*7-8 января 1917 года. Кирочная — поезд — Ревель.*

Дом на Кирочной, тридцать четыре, где жила старшая дочь Мария Николаевна с мужем  
и тремя детьми, был доходный, светло-жёлтой штукатурки, четырёхэтажный, с подъездом во

двор и окнами на улицу. Эссен этот дом видел двенадцать раз с момента, как Мария вышла за Бориса в одиннадцатом году. Двенадцать — он считал.

Тринадцатый раз — сегодня.

Казённый автомобиль штаба остановился у подъезда без четверти пять. Шофёр — пожилой солдат, в шинели, с медалью за усердие, — открыл дверцу. Эссен вышел. Ренгартен — за ним, без папки, держал на руке маленький свёрток в коричневой бумаге, стянутый шпагатом. Это был подарок: дешёвый игрушечный паровозик из Морского собрания, купленный утром в Ревеле, который Эссен велел захватить.

— Иван Иванович.

— Слушаю.

— Вы езжайте на Невский, в гостиницу. Я буду в доме до восьми. Оттуда — на Балтийский, к девятичасовому.

— Слушаюсь.

— Свёрток.

Ренгартен передал свёрток. Не сказал ничего. Развернулся, сел обратно в автомобиль. Шофёр кивнул из водительской дверцы. Машина отъехала, оставив на снегу две тёмные полосы.

Эссен поднял глаза на фасад.

Окна квартиры дочери — на третьем этаже, по фасаду на Кирочную, два слева от парадной — горели. За занавеской светил жёлтый ламповый свет. На угловом окне за занавеской — тень, невысокая, с собранными волосами. Маша.

Эссен вошёл в подъезд.

В подъезде — каменная лестница на широких пролётах, перила чёрного железа с медными ручками. Дворник стоял у нижней ступени, в белом фартуке поверх полушубка, без шапки. Седой, с осунувшимся лицом, лет шестидесяти. Глаза опущены.

— Здравствуйте, голубчик.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство. К Страховым?

— К Страховым.

Дворник наклонил голову. Не поклонился — кивнул.

В подъезде — холодно, не натоплено. У стены, в углу, под лестницей лежала куча мётел и свёрнутых рогож. Из этого угла шёл — Эссен сразу определил — тот же запах, что и на улице. Снаружи его разводил ветер, здесь — стоял.

Эссен поднялся по лестнице.

На третьем этаже, у дубовой двери с медной табличкой «Б. С. Страховъ», — позвонил. Дверь открыла горничная Дуся, девушка лет двадцати, в чёрном платье с белым передником, в наколке. Лицо — серое, как у всех в этом городе, но ещё не выеденное. Молодость держалась в коже. В глазах — то же замедление, что в кучере шарабана. Поклонилась.

— Ваше высокопревосходительство.

— Здравствуй, Дуся.

— Барыня в гостиной. Мария Николаевна тоже. Дети не спят.

— Хорошо.

Эссен вошёл. Снял шинель. Дуся приняла. Фуражку положил на тумбу в прихожей.

В гостиной было тепло. Натоплено по-петербургски — не жарко, в самый раз. Изразцовая печь, голубая с белым, гудела в углу. Тянуло сухим теплом берёзовых дров и тем устоявшимся домашним духом, что делает воздух гуще: пирогом из духовки, керосином лампы, сушёной мятой из мешочка под подоконником. Лампа на столе — керосиновая, не электрическая (в доме провели электричество в четырнадцатом, но Маша керосиновую любила больше за тёплый свет, в этом была права). Стол был накрыт к чаю. Самовар стоял на отдельной подставке,

медный, без вензеля — этот был Машин ещё с Кронштадта, с восемьдесят шестого года, выслужил больше тридцати лет. Скатерть белая, с вышивкой по краю — сине-голубой узор крестом.

Маша стояла у стола.

В тёмно-зелёном шерстяном платье с глухим воротом, поверх — серая шерстяная шаль на плечах, не для тепла, для привычки. Волосы собраны в пучок на затылке, рыжевато-седые. За два месяца, что Эссен её не видел, седины стало больше. Лицо — то же, что у всех в этом городе, чуть бледнее, чем в Ревеле, но глаза держали, не отплыли. Глядела на Эссена прямо.

— Николая.

— Маша.

Подошёл. Обнял. Не торопясь — она не любила торопливых объятий, никогда. Под шалью у неё плечи были тонкие — за два месяца похудела. Эссен это отметил.

Поцеловал в висок. От её волос пахло сухой шерстью, лавандой из шкафа, и слабее, едва-едва, тем же подвальным. Этот запах был на её одежде, как был на всех в Петрограде. Маша его не различала, потому что жила в нём.

Запах земли в комнате был тоньше, чем в подъезде. Печь его выгоняла.

Эссен отстранился. Посмотрел.

Маша держала его за рукав, отпустила не сразу.

— Ты на ногах. Хорошо.

— На ногах.

— Чай горячий. Сядь.

Не «садись» — «сядь». Жена адмирала, выросшая в Кронштадте, говорила так тридцать лет.

В дверях смежной комнаты появилась дочь.

Мария Николаевна — тридцать лет, тёмно-русые волосы, серо-синие глаза материнские. В чёрном платье с глухим воротом, поверх — кружевной воротничок. Беременная третьим (Эссен это знал из последнего письма Маши, не подсчитывал по виду — талия под платьем не выдавала пятого месяца). На руках у неё был средний внук, Митя, четырёх лет, в синем матросском костюмчике, в шерстяных носках. Глаза у него — заспанные, видно, только что подняли с лежанки, чтобы успел поздороваться с дедом.

— Папа.

— Мария.

Поцеловал в лоб. Митю обнял рукой, не снимая с её плеча. Митя молча уткнулся в шейный платок матери — у него на щеке след от подушки, красный, не сошёл.

— Где старший?

— У окна. Николенька, иди сюда.

Из угла комнаты, от подоконника, поднялся мальчик. Пять лет, в матросском же костюмчике, темнее Митино. Худенький. Лицо узкое, серьёзное, глаза от матери, отцовский подбородок (Бориса, Эссен помнил по одной фотокарточке — длинный угловатый подбородок). Подошёл к деду медленно, без улыбки, без той детской торопливости, которая бывает у пятилетних. Подал руку — не для пожатия, а для приветствия по-взрослому. Эссен пожал, короткой, серьёзной формальностью, как приветствуют младшего офицера на первой встрече.

— Здравствуй, Николенька.

— Здравствуй, дедушка.

Голос — тонкий, тихий. Не детский визг, не радость. Спокойствие, какое бывает у старших мальчиков в семьях, где отец на войне.

Эссен присел перед ним на одно колено. Положил руку на его плечо. Плечо под матросским костюмом было — птичьё, тонкое.

— Ты как тут?

— Хорошо. Маму слушаюсь.

— Это правильно.

— Папа когда приедет?

Эссен посмотрел в его серьёзные тёмные глаза. Не отвёл взгляда. Сказал ровным голосом:

— Папа в море. Пишет, что скучает по тебе. Скоро вернётся.

— На Рождество не вернулся.

— На Рождество были штормы.

— На моё рождение тоже.

— И на твоё рождение были штормы.

Николенька смотрел на деда. Не настаивал. Кивнул один раз — той же серьёзной кивающей манерой, которой здоровался. Эссен в этом кивке узнал Бориса. Между ними стоял Борис, не присутствуя — он был сейчас на «Львице», в Або, на ремонте после декабрьского похода.

— Дедушка, я тебе свёрток привёз.

— Какой?

— Маленький. Иди разверни.

Эссен достал свёрток из кармана тужурки — пока шёл, переложил его из шинели туда. Подал. Николенька взял двумя руками. Отошёл к столу. Развязывать стал не торопясь, аккуратно, как развязывают важное.

Митя — на руках у матери — поднял голову, заинтересовался. Слез с её рук, пошёл к брату, цепляясь за её юбку.

Эссен встал. Посмотрел на Машу.

Маша смотрела на детей — на затылок Николеньки, на Митины пальцы, перебирающие бумагу. Не на мужа.

— Сядь, Николя.

Сел в кресло у самовара. Маша села напротив, повернувшись к детям вполборота — чтобы видеть их и его одновременно. Пододвинула стакан в подстаканнике, налила чаю. Сахар не положила — знала, как он пьёт. Положила в его блюдце два маленьких сухаря.

— Ешь. Из Ревеля ехал — голодный.

— Не голодный.

— Ешь.

Эссен взял сухарь. Откусил. Сухарь был тёплый — Маша подсушила в духовке заранее, как делала всегда перед его приездом. Ржаной, с тмином. Запах ржи на миг перебил все остальные запахи в носу.

Николенька развязал свёрток. Маленький жестяной паровозик с двумя вагонами, чёрный, с красной трубой. Поднёс к лампе, посмотрел. Не заулыбался — но в глаза вошло то детское, что у него не появлялось со встречи. Митя подошёл, потянулся. Николенька, не глядя, отдал ему один вагон.

— Спасибо, дедушка.

— Носи.

Маша смотрела на это секунду. Потом — повернулась к Эссену.

— Иван Константинович придёт?

— К семи.

— Я подам ужин. Сейчас — чай.

— Хорошо.

— Антоний пишет?

Эссен кивнул не сразу. Антоний из Або прислал телеграмму три дня назад — короткую, сухую, без обращения «отец»: «АГ-четыренадцать на ремонте. Здоров. Антоний.» Маше написал отдельно, в тот же день, тёплое письмо в две страницы.

— Жив. Здоров.

— Я получила его письмо в среду. Он пишет, что спит хорошо. Я не верю. Он бы написал, что не спит, если бы спал хорошо. Но ему легче, когда я думаю, что он спит.

Эссен посмотрел на жену.

Маша не сводила с него глаз — тех самых, которые он любил тридцать лет за то, что они не гасли. Сейчас за этими глазами было выражение, какое бывает у женщин, которые ждут писем от мужа и сына одновременно с двух разных морей. Не страх. Внимательность.

— Маша.

— Что?

— Поход назначен на март. После ледохода.

Маша кивнула. Не сказала ничего.

— Долго.

— Я знаю.

— Я не вернусь к Пасхе.

— И это знаю.

Эссен помолчал. Откусил второй сухарь.

— Как ты?

— Хорошо. Дочка беременна, вот что главное. Третий — будет к маю.

— Маленькому что-нибудь...

— Перестань. У них всего хватит. Лучше ты — себя береги.

— Маша. Я не солдат.

— Ты не солдат. Ты адмирал. Адмиралов тоже теряют.

Эссен взял сухарь, не откусил. Маша на «теряют» сказала так — без выражения, как говорят о факте погоды, который случается каждую зиму. Это было — её. Жена, выросшая в Кронштадте на похоронах двух дядьёв и одного брата. В детстве носила траур четыре раза. Не пугалась слова.

— Я не пишу тебе всего, что у меня под кожей, — сказал Эссен. — Знаешь.

— Знаю.

— И не напишу. На море.

— Я знаю, Николая.

— Если что — ты Антонию.

— Антонию я. И Марии я. И детям я. Сама.

— Хорошо.

Они помолчали.

В углу, у иконостаса (Маша держала угол в каждой квартире, где жила, — тот же образ Иверской и тот же серебряный лампадик), горела лампадка. Эссен на неё посмотрел. Лампадка горела ровно, не качалась. Образ Иверской — тёмный, девятнадцатого века, привезён ей матерью из Афона. Намолен. В его углу — запаха земли не было.

Маша заметила, на что он смотрит. Перекрестилась — не широко, как у Григоровича, и не экономно, как у Непенина — средне, по-домашнему. Двумя пальцами не крестилась — она крестилась тремя, по-новому.

— Ты приходишь к Иверской чаще, чем раньше, — сказал Эссен.

— Прихожу.

— И что говоришь?

— Не тебе спрашивать, Николая. Это моё.

— Извини.

Маша посмотрела на него прямо. Взгляд был — твёрдый, без обиды.

— Я скажу одну вещь. Не от себя — она у меня в голове третий месяц. Я её думаю каждый раз, когда ты пишешь мне с рейда.

— Скажи.

Маша поправила шаль — медленно, как поправляют то, что давно не сползло. Сказала тихо, не торопясь:

— То, что нас держит, — нас же и съест. Я это поняла в декабре. Тогда же и поняла, что молитва — не про возвращение. Не про то, что нам вернут. Молитва — про то, чтобы мы выдержали, что нам пошлют.

Эссен смотрел на неё.

Маша не плакала. Глаза держала. Это было — её, вся целиком: она говорила, чтобы он услышал, не чтобы пожалеть. Думала это три месяца. Сказала за две минуты, без долгих обходов, без литературных прелюдий. Жена адмирала.

— Маша.

— Не спорь со мной про молитву, Николая. Я тебе её не объясню. Молюсь, как умею.

Эссен помолчал.

В правой ладони — давление. Запах земли — слабый, на пределе различения. Лампадка под Иверской — горела не дрогнув.

Митя в углу под столом катал паровозик, бубнил что-то под нос. Николенька рядом стоял, молча смотрел.

Маша снова налила Эссену чаю. Положила третий сухарь. Эссен смотрел на её руки — тонкие, в коротких ногтях, с обручальным кольцом, потускневшим от времени, и со старым серебряным колечком на безымянном правой руки, материнским, которое она не снимала.

— Маша.

— Что?

— Если Антоний приедет в Петроград до марта — пусть зайдёт сюда. Не на «Кречет». Сюда.

— Скажу ему.

— И ещё. Вера Михайловна Зарубаева.

— Заходила на той неделе. В чёрном.

— Как она?

— Сильнее, чем кажется. Я её приняла, чай попили. Она не плачет. Дочь ходит с ней, маленькая — шесть лет. Я за маленькую боюсь.

— Помоги, если можешь.

— Помогаю. Я ей принесла то, что осталось от Зарубаевской дачи в Финляндии — бумаги, фотокарточки. Она поплакала один раз — у меня в передней. Один раз.

Эссен кивнул. Подумал — что Маша через два месяца, может быть, будет принимать в чёрном такую же другую женщину. И что эта другая женщина будет приносить ей бумаги и фотокарточки от него самого. Подумал — задавил.

Маша посмотрела на него. Видела.

— Не думай об этом сейчас. Думай — когда придёт.

— Хорошо.

— Сейчас — пей чай. Иван Константинович скоро.

Эссен взял стакан.

Чай был горячий, крепкий, с ломтиком лимона на блюде. Эссен пил мелкими глотками. Через стакан — гул через сталь подстаканника, тот же, что через борт вагона и через каменный пол храма, — здесь глуше, едва слышный. Стакан грел ладонь. Это было — обыкновенно. Чашка на столе у дочери, чай, ребёнок с паровозиком под столом.

В этот момент Эссен ничего не сказал — ни вслух, ни про себя. Только подержал в горле фразу, которую не записал бы и в личный журнал, потому что писать её в журнал было бы оформлением, а оформленные слова теряли вес.

«Маша, я подписал себя самого, чтобы выйти в море.»

Подержал в горле. Не сказал. Запил чаем.

Маша на него смотрела — и не спрашивала, что он только что промолчал.

Через час пришёл Григорович. Ужин был тихий, разговоров мало — о флоте ни слова, по уговору, который у них с Машей был с девяностого года. Митя засыпал на ходу. Дуся унесла его в детскую. Николенька сидел до конца, по-взрослому, с ложкой супа, не торопясь. Мария Николаевна писала записку в кухню и поднимала глаза на отца раз в три минуты.

К восьми Эссен встал.

Шинель Дуся подала в прихожей. Фуражку — Эссен взял со стола сам. Григорович вышел вместе с ним — на лестницу.

Маша стояла в дверном проёме гостиной. Не вышла на лестницу — у неё было правило не провожать дальше порога, иначе будет «к слезам». Эссен это правило знал тридцать лет.

— Николая.

— Маша.

— Береги себя.

— Берегу.

— Иди.

Эссен поцеловал её в висок ещё раз. Под её виском, у уха, — прядка седого волоса. Тонкая. Эссен заметил, не упомянул. Развернулся. Пошёл вниз по лестнице.

Григорович — следом, на полшага.

В подъезде — холод. Дворник у нижней ступени — на месте. Не двинулся за то время, что Эссен был наверху. Лицо то же. Глаза опущены.

— Голубчик, спасибо.

Дворник кивнул. Не сказал ничего.

На улице — снег, шёл лёгкий. Казённый автомобиль ждал у подъезда. Шофёр — открыл дверцу.

Эссен сел. Григорович — рядом.

— На Балтийский, к девятичасовому.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.

Машина тронулась.

Эссен повернул голову к окну. На третьем этаже дома — за занавеской — стояла Маша. Не махала. Никогда не махала вслед — это, считала, к слезам. Просто стояла. Глядела.

Машина повернула за угол.

Маши не стало в окне.

\* \* \*

На Балтийский приехали без двадцати девять. На перроне у вагонов второго класса стояли группы — провожающие, в шинелях и шубах, с детьми на руках, тёмные фигуры под жёлтыми фонарями. Жандарм у выхода с перрона приложил руку к виску. Эссен прошёл, не отвечая.

Ренгартен ждал у вагона — мягкий, министерский, не тот же, что утром, но того же класса. Папка под мышкой. На голове — каракулевая шапка, та же.

— Николай Оттович. Купе готово. Состав отходит в восемь пятьдесят семь.

— Хорошо.

— Чай я заказал на десять тридцать, как вы любите.

— Хорошо.

Эссен поднялся в вагон. Ренгартен — следом, с портфелем. Шинель Эссен снимать не стал. Прошёл в купе, сел.

Купе было то же по устройству, что и утром: мягкое, в министерской броне, с откидным столом и подстаканником. Лампа под потолком горела жёлтым. На стекле — внутреннем, ниж-

нем — застывал тонкой плёнкой пар. Печь в служебном тамбуре где-то работала уже несколько часов, в купе тепло, шинель действительно можно было снять.

Эссен снял шинель. Фуражку повесил на крюк. Перчатки — на стол.

Через дерево обшивки — гул, на полтона ниже того, что он помнил.

Запах земли — на одежде. Не в воздухе купе. На рукавах шинели, на воротнике, на околыше фуражки. Эссен это отметил. Шинель на крюке висела отдельно, и от неё, не из-за форточки, шла сейчас та лёгкая земляная нота, которая ходила за ним весь день.

В восемь пятьдесят семь вагон тронулся. На минуту запоздно — две переключки гудками и резкий толчок. Поезд вышел с Балтийского вокзала, прошёл стрелочной горловиной, выходил в прямую на Гатчину.

Огни Петрограда — за окном — уходили медленно. Двойные ряды керосиновых фонарей по линии путей, тёмные скаты крыш, у самого выхода — высокая труба газового завода, дымившая красновато на фоне ночного неба. Эссен смотрел на это, не считая. Считать он перестал.

Поезд набрал ход за двадцать минут.

В двадцать две минуты десятого огни города кончились. За окном — тёмные поля под снегом, серые в свете самого снега, и больше — ничего: ни луны, ни звёзд. Видны были чёрные щётки ельника, прерывающиеся прогалинами, и где-то далеко — слабые жёлтые точки деревень, по две-три на горизонте.

Эссен открыл занавеску до конца.

Запах земли в купе — отступил. Не сразу — за пять, может быть, шесть минут после того, как кончились городские огни. Шёл с одежды, с шинели на крюке, и медленно — выветривался. Либо нос привыкал и переставал различать. Эссен в этом разбираться не пытался.

Под лбом — держалось. Гул через борт вагона — глуше дневного, ровный.

Морское — было его.

Земляное — оставалось городу.

Эссен это отметил без формулировки, как отметил утром семерых в поле, и днём одного рыболова на льду канала, и в храме — лампаду под Николаем, которая качнулась и встала.

Журнал он достал из портфеля. Открыл на странице, оставленной утром. Запись с утра — *«К министру по приказу 78-Б. Срок похода — март-апрель. Состав — экспедиционный. Флагман — крейсер.»* — стояла, не зачёркнутая. Дальше — пустая страница.

Эссен обмакнул перо.

Подержал.

Хотел записать — что подписал. Что выторговал. Что потерял. Что обещал Маше, и что не обещал. Что увидел в Аввакуме. Что подумал о руках Гавриила. Что услышал от Григоровича.

Слов не было.

То есть слова — были. Каждое отдельно — было. *«Тридцать. Восемь архимандритов. Двадцать два иеромонаха. Один из них — комиссар. Кресты — отбиты. Офицеры — отбиты. Колчак — отказан. Я — назначен. Маша — поняла. Внук — спросил про Рождество. Лампадка — качнулась.»*

Каждое отдельно складывалось.

Вместе — не складывалось.

Эссен подержал перо ещё секунду. Опустил его обратно в футляр. Журнал закрыл. Ремни — застегнул.

Положил в портфель. Портфель — рядом с собой, на скамью.

Откинулся в кресле.

В одиннадцать с минутами проводник принёс чай. Старик с бакенбардами тот же, что утром, — узнал, кивнул. Поставил стакан в подстаканнике на откидной стол. Положил рядом ломоть лимона на блюде. Молча. Закрыл дверь за собой так же, как утром, без щелчка.

Эссен пил чай мелкими глотками, как у Маши, час назад.

Чай был не Машин — ревельский, заваренный в купе, без её рук. Это Эссен различал даже сквозь усталость.

Он допил.

Поезд шёл на Гатчину, на Нарву, на Ямбург.

В двенадцать с минутами огни деревенских окон за стеклом исчезли. Шли через лес — тёмная стена, без просветов. Иногда между стволами проблескивал снег, и сразу опять — стена. Эссен смотрел на эту стену.

В правой ладони — давление.

В челюсти — то же.

Через борт — гул.

В носу — нейтральное. Без земли, без ладана, без чая.

Маша.

Слово прошло у Эссена в голове, как проходило весь день. Без адресата. Без жалости. Без ответа.

Эссен закрыл глаза.

Не уснул. В поезде, в купе, спать он умел плохо с тысяча девятьсот четвёртого года, с интернирования в Циндао, когда китайские конвоиры всю ночь ходили мимо его двери. Но темнота под закрытыми веками была — отдыхом. Через эту темноту проходили — как сквозь воду — лица: Маша у самовара, Николенька с паровозиком, Дуся в передней, дворник у нижней ступени, секретарь у двери в министерстве, Гавриил с кадилом, Аввакум у окна, Григорович за столом, Непенин у карты, Ренгартен в купе утром. Каждое — на миг. Не задерживалось.

Аввакум — задержался дольше.

Не лицо. Посадка плеча.

Эссен открыл глаза.

В купе — лампа жёлтая. Стекло за стеклом — лес, снег, тёмное. Поезд шёл — мерно, на сорок вёрст в час, с равномерным толчком на каждом стыке.

Эссен сидел минуту. Не двигался.

Потом — открыл портфель. Достал журнал. Расстегнул ремни. Открыл на той странице, что закрыл час назад.

Обмакнул перо.

Подержал.

Написал четыре слова:

*Я подписал. Маша поняла.*

Промокнул. Посмотрел. Не зачеркнул.

Журнал закрыл. Ремни — на этот раз не застегнул. Положил рядом с собой, не в портфель. Перо — в футляр.

Через стекло — лес.

В лесу, между двумя верстовыми точками, на короткое мгновение мимо окна прошёл просвет — поляна, освещённая луной, и в просвете — какая-то фигура у дальнего дерева, не лошадь, не человек, не зверь. Эссен этого не разглядывал — поезд унёс. Может, было. Может, нет.

Лес сомкнулся.

Эссен на это ничего не подумал. Ни слова — внутри, ни жеста — снаружи. Сидел.

В половине второго ночи поезд прошёл Гатчину. Эссен по часам не сверялся — узнал по тому, как машина прошла длинную выходную стрелку, какая бывает только у крупных станций,

и потянула в новую прямую. Запах паровозного дыма — на минуту проник в купе через щель окна, потом ушёл.

Эссен снял тужурку. Лёг на скамью, не раздеваясь дальше. Лампу — не выключил.

Не уснул.

Под закрытыми веками — Маша, в дверном проёме гостиной, в зелёном платье и серой шали, не вышедшая на лестницу. Маша не махала. Просто стояла. Эссен это видел сейчас, в купе, чётче, чем видел два часа назад вживую. Иногда так бывало. Уходишь — потом вспоминаешь точнее.

Маша в дверном проёме сказала ему — что-то. Сейчас, в купе, под закрытыми веками, она губами шевельнула беззвучно. Эссен не разобрал слов. Слова не возвращались.

Эссен открыл глаза. Сел.

В купе — то же. Лампа жёлтая. Стекло. Лес.

Эссен встал. Налил себе остывшего чая со дна стакана, выпил холодным.

Потом снова лёг.

Гул — прежний.

Ландшафт за окном пошёл другой: лес кончился, открылась прибрежная равнина. Поезд приближался к Финскому заливу — где-то слева, за тёмной полосой, был лёд, и за льдом — Гогланд, за Гогландом — открытая Балтика. Эссен этой географии не видел в окне (за окном — только поле и редкий кустарник), но знал её под собой так же твёрдо, как знал в Порт-Артуре расположение японских батарей по тыловому холму.

Поезд гудел на разъезде. Сбавил, прошёл встречный товарняк — тёмный, длинный, с грохочущими цистернами. Снова набрал ход.

В четыре с минутами стало различимо.

Не светлело — обозначалось. Серое сделалось плотнее, без блеска, без оттенков, ровным до горизонта. Снег под ним лежал той же плотностью. Поля — не русские, узкие, вычерченные межевыми полосами на немецкий манер. Эссен это видел — узнавал свою землю. Эстляндия, не Россия.

Под лбом — то же. Не вышло с воздухом, не вышло с землёй. В носу — морозное, чистое, без земли, без подвального, без печного. Поле чистое. Эссен на это, в первый раз за сутки, выдохнул — не глубоко, на полвыдоха, но другим выдохом, чем все предыдущие за день.

В пять часов поезд подходил к Ревелю.

Слева открывалась полоса залива — белая, одной плоскостью до Финляндии, с торосами у берега. У горизонта — серое небо.

Без разрывов.

В Ревеле Эссен сошёл первым, как полагалось командующему. На перроне — ждал ординарец с «Кречета», вахтенный офицер, и катер у причала, до которого надо было ехать на казённом по Морскому проспекту. Шинель Эссен носил на себе, не снимая. Фуражку — глубоко на лоб.

Ренгартен — за ним, на полшага.

Эссен у выхода с перрона остановился. Посмотрел в сторону залива — за зданием вокзала, за кварталом приморских домов белое поле льда тянулось до Гогланда.

В носу — морской воздух. Соль, лёд, машинное масло из портовой стороны, дым от паровозных труб у Рогервикского мола.

Земли — не было.

Эссен вдохнул. Один раз, глубоко, до нижних рёбер.

— Иван Иванович.

— Слушаю, Николай Оттович.

— На «Кречет».

— Слушаюсь.

Эссен пошёл к казённому автомобилю, который ждал у привокзального проезда. Шёл твёрдо, как ходил всегда, маленький плотный адмирал, пятьдесят шесть, рыжая борода с проседью, синевато-серые глаза. Фуражка надвинута. Шинель тёмная.

В правой ладони — давление. Прежнее. В челюсти — то же.

Через подошвы сапог — гул, через мостовую, тот же, что через борт «Рюрика», через камень храма, через дерево обшивки купе. На полтона ниже того, что он помнил.

«Кречет» ждал у стенки.

В море — был дом.

## Интерлюдия. Робертс

*Февраль 1917 года, первая неделя. Скапа-Флоу. Линкор «Hercules».*

Гудело снизу.

Робертс знал гул корабля так, как знает свой дом человек, проживший в нём с детства: восемь узлов, спокойное море, левая турбина чуть громче правой — она стала громче с осени, когда её перебирали в Розайте. Шеф-инженер Бартлет говорил, что это не страшно, и Робертс ему верил: Бартлет мужик был серьёзный, зря не успокаивал. Винты били ритмично, две тысячи оборотов на оба. Разница между третьим и четвёртым валом — три оборота. Эта разница была в «Hercules» с постройки, и о ней никто не докладывал — и так все знали.

Стальной мешок гидрофонной выгородки был три на три метра. Робертс знал каждый заклёп: их было сто шестнадцать на четырёх стенах, по двадцать девять на каждой, и в нижнем ряду один был кривой — головка торчала на четверть пальца выше остальных, и Робертс задевал его плечом, когда садился на скамью у правой стенки. Он садился у правой не потому, что надо, — а потому, что пахло чуть слабее. Левая стенка прилегала к угольному бункеру — оттуда всегда сквозило углём. Правая упиралась в коридор к лазарету, оттуда тянуло карболкой и керосином от ламп. Карболка пахла чище.

Наушники лежали тяжёлые, кожаные, с медной чашкой. Холод чашек был знакомый — чуть тёплый изнутри, от уха, холодный снаружи. Робертс прижал их плотнее и развернул колесо пеленга на четверть.

Гидрофон отозвался.

Сначала — общий гул, всегда одинаковый, как у любой воды на восьми узлах: низкая, неровная, с длинными провалами. В этот гул Робертс не слушал — он его пропускал, как зрячий пропускает свет. Слушать надо было поверх. Поверх гула — машинный шум своего флота: «Iron Duke» в восемнадцати кабельтовых на правом траверзе, четыре винта, тяжёлый размеренный пульс. «Marlborough» в строю позади. Робертс его на слух от флагмана не отделял, но знал, что он там, потому что сигнальщик утром объявил по громкой. Эсминцы где-то с фланга, их винты были тоньше и резче, как бабья ругань.

Робертс работал второй месяц.

Первые три недели были тяжёлые: он путал. Не по слепоте — по привычке. Раньше он был дальномерщиком, восемь лет: измерял дистанцию глазом и сеткой, теперь — ухом и колесом. Колесо ходило туго, и звук в наушниках жил по своим законам. Справа в наушниках звучало выше — на четверть. Далеко означало, что третья гармоника тише первой четверо. Робертс это всё запомнил. Через три недели дрянь ушла, и он начал слышать вещи, которые петти-офицер Деннинг ему показывал, и вещи, которые не показывал.

Деннинг был доволен. У Деннинга был один зрячий — Уолтерс, шотландский мальчик восемнадцати лет с одним глазом, и три слепых: Робертс, старый Холлис из Брайтона и валлиец Эванс. Эванс был лучшим. Эванс работал гидрофонистом ещё с шестнадцатого года, до прихода **этого**, и слышал такие частоты, какие Деннинг сам в инструкциях не указывал. Эванс ослеп от менингита в десять лет, и стальной мешок был ему домом, не каютой.

— Робертс, — сказал кто-то у двери.

По шагу — Килрой. Двадцать восемь шагов от трапа, лёгкая хромота на правую ногу (Ютланд, осколок в бедро), запах — табак, кордит, морская соль, чуть пота. Килрой пах стабильно. Если бы Килрой однажды зашёл, не пахнув кордитом, Робертс бы понял, что с ним что-то не так.

— На месте, — сказал Робертс.

— Боевая через десять.

— Понял.

Килрой постоял. Робертс слушал его дыхание: Килрой дышал ртом — у него с осени была заложенность, врач выписал капли, но капли в Скапе не достать, и Килрой дышал ртом четвёртый месяц. Дыхание шло ровно. Всё было как всегда.

— Эванс не пришёл, — сказал Килрой.

— Что с ним?

— Не сошёл с койки. Деннинг говорит — оставить.

Робертс молча кивнул. Эванс не сходил с койки уже третий раз за неделю. У него в декабре умерла мать в Кардиффе, известие пришло после Рождества, и с тех пор Эванс держался хуже. Деннинг его не списывал — заменить было некем. Слепых на флоте теперь было много, но таких, как Эванс, — не было.

— Будешь левым, — сказал Килрой. — Я к Холлису.

— Понял.

Шаги ушли. Двадцать восемь обратно. Запах ушёл вместе с шагами — табак растворился в карболке.

Робертс снял наушники, нащупал кружку у правой ноги. Кружка стояла на полу, вода в ней была чистая — он сам наливал её утром из фляги, не из общего бака. В общем баке вода в Скапе пахла железом. Отпил два глотка, поставил обратно, нашёл на ручке зарубку — зарубку он нанёс ножом на третий день, чтобы не путать с чужой кружкой. Вернул наушники.

Бой начался без объявления.

Сначала — частота. Где-то на двухстах шестидесяти, тонкая, на грани. Она пришла раньше, чем зазвонил телеграф. Она всегда приходила раньше. Робертс развернул колесо до упора влево. Пеленг лёг на сорок пять градусов по правому борту. Частота держалась.

Третья гармоника пошла через пять секунд.

Тогда зазвонил телеграф.

— Робертс, доклад, — голос Деннинга в раструбе.

— Сорок пять справа, частота двести шестьдесят, гармоника устойчивая, — Робертс говорил так, как его учили: цифра, цифра, цифра. — Идёт сюда. Скорость — восемь узлов, может больше. Пеленг сужается.

— Что?

— Они, сэр.

— Принято.

Робертс не двинул колесо. Тонкая частота ползла вверх, четвёртая гармоника тоже пошла — она была чище, чем третья, без модуляции. Это значило: тварь выдерживала. Не уставала.

Дредноут дрогнул всем корпусом — главный калибр развернулся. Робертс не услышал команд. Мостик был наверху, восемь палуб. Услышал железо: погоны башен, они скрипели всегда одинаково, и по скрипу было ясно, на какой пеленг легли. Башня «В» развернулась медленнее обычного — у неё в декабре заклинило ролик, его выправили — не до конца. Башню «В» он любил.

— Робертс, поправка, — Деннинг.

— Тридцать восемь справа. Сужается.

Залп.

Гудение наушников ушло — во время залпа звук на гидрофоне срывало в треск, всё сразу, как по железу молотом. Робертс снял правый наушник, левый прижал плотнее. Через пять секунд треск унялся. Пеленг вернулся.

Тварь была там же. Тварь двигалась.

— Сэр, частота не пропала, — сказал Робертс. — Сместилась на тридцать пять. Идёт.

— Поправка к башне «А», тридцать пять, — голос Деннинга в сторону, не в раструб. Потом в раструб: — Робертс, не отпускаяй.

— Не отпущу.

Второй залп.

После второго — частота поднялась. Не пропала, поднялась: с двухсот шестидесяти ушла к двумстам семидесяти, потом к трёмстам. То же, что было, только громче, и в этом громче — что-то новое.

— Сэр, она не уходит. Она кричит.

— Принято.

Третий залп.

Гудение пропало.

Робертс ждал. Десять секунд. Пятнадцать. Тонкой частоты не было — была вода, машинный шум, винты «Igon Duke» справа, эсминцы. Никакого пения. Третья гармоника не приходила.

— Сэр, тишина.

— Принято. Жди.

Робертс сидел. Кружка стояла у ноги. В железе по правой стенке скрипнуло — корабль ложился на новый курс, восемь градусов вправо, винты сменили обороты. Наушники тяжелели в кулаках. Пот стекал по щеке вниз к подбородку, под воротник, и там оставался тёплым, потому что куртка плотная, шерстяная, не пропускала.

Он слушал. На месте, где было пение — вода, винты, эсминцы. Чисто. Но где-то на пределе четвёртой гармоники, под общим всем звуком, едва-едва, что-то ещё. Не там, где была тварь. Ближе. Робертс повернул колесо на четверть, на половину, до упора. Пеленг не лёг ни на что. Звук был и не был. Может, машина. Может, заклёпка скрипит на качке. Может, не показалось.

Робертс вернул колесо на исходный пеленг. Не доложил. Деннинг бы записал «оператор устал», и был бы прав.

Через двадцать минут Деннинг сказал: «Отбой».

Робертс снял наушники. Положил на колено. Потёр ухо большим пальцем.

Боевая закончилась.

\* \* \*

В кубрике пахло двадцатью восемью людьми сразу: пот, шерсть, табак, угольная гарь от самого старшего (Маккензи курил трубку у иллюминатора, иллюминатор ему открывали по статусу — единственный во всём кубрике), мыло «Пирс» (его присылали жёны и тёщи в посылках, оно было дороже плаги), солёный воздух от иллюминатора Маккензи, чай, остатки тушёнки в общей миске на нижнем столе, несвежие портянки в мешках под койками, и что-то едва-едва — карболка и кровь — это от Холлиса, у которого с утра кровило ухо после залпа.

Робертса довёл до его койки матрос-проводной, Уизерс. Уизерс был зрячий, восемнадцать лет, из Манчестера, говорил мало, вёл крепко. Уизерс сегодня был злой — Робертс это чувствовал по тому, как он держал локоть: жёстче обычного, не из-за Робертса, а из-за чего-то наверху, и Робертс не спрашивал, потому что Уизерс не отвечал, когда злой.

— Спасибо, оппо, — сказал Робертс у койки.

— Угу.

Шаги Уизерса ушли. За ними ушёл и запах — дешёвый «Вудбайн», который Уизерс курил с осени.

Робертс сел на край койки. Койка была вторая снизу, четвёртая от двери. Над ним — Кэриган, ирландец, на нижней — Дики Винс. Под подушкой был свёрток: материнское письмо, сложенное вчетверо, — на нём были выпуклости, мать выводила буквы карандашом крепко, и буквы прощупывались сквозь бумагу. Каждый вечер Робертс трогал их большим пальцем, по одной — «Том», «Том», — и письмо не читалось вслух (читать вслух некому), но трогалось.

Он лёг.

Шерстяное одеяло было колкое, но привычное. Койка скрипнула по правой стойке. На «Birmingham», до того как он ослеп, такие же скрипели точно так же. Стандарт Адмиралтейства.

Робертс закрыл веки, хотя они не сходились полностью — после ожога пятнадцатого года сходились на четыре пятых. Об этом он не думал — разве что на верхней палубе, когда ветер сушил глазное яблоко.

Сегодня было тихо.

Тихо — это в кубрике после отбоя: шорохи, дыхание двадцати восьми человек, кашель Маккензи, скрип шести коек, плеск воды в раковине у двери (кто-то умывался — по запаху мыла «Пирс», скорее всего Дин), шаг по коридору — петти-офицер обходит, сапоги с медной набойкой, шаг тяжёлый, но не строевой — Килрой. Через минуту другие сапоги — обходит сменщик. Корабль гудел снизу, теперь на пяти узлах: сменили курс на спокойный, идём в Скапу.

Робертс лежал.

Через переборку, в соседнем кубрике, кто-то засвистел.

\* \* \*

Сначала — несколько нот, в нос. Низко, не громко, под нос.

Робертс не слушал.

Свист повторился. Те же ноты, по второму разу. И в голове Робертса, без его воли, поднялась цифра: двести шестьдесят. Третья гармоника. То, что было сегодня в гидрофоне, в первые секунды боя, перед первым залпом.

Робертс повернул голову.

Свист шёл через переборку, тонкую, в которую упирался изголовник его койки. Свистящий стоял у раковины — слышен был плеск воды, мыла, и поверх плеска — ноты. Шесть нот. Робертс их сложил: повтор, спуск, повтор, ниже на ступень, и вверх, и держать.

Это было то самое.

Робертс лежал, не двигаясь.

Свист оборвался. Открылся кран сильнее, кто-то прополоскал рот, плюнул, кран закрыл. Шаги. Робертс по шагам узнал — Килрой. Хромота на правую. Тот же набор. Килрой прошёл по коридору обратно к своему кубрику, петти-офицерскому, пять переборок дальше.

Робертс лежал.

Он мог бы донести. У Деннинга было правило: всё, что слышишь после боя — докладывай. Доклад занимал пять минут. Деннинг бы записал. Килроя бы вызвали к доктору. Доктор бы спросил: «Что ты насвистывал, моряк?» Килрой бы ответил: «Не помню, сэр.» Доктор бы записал.

Робертс не двинулся.

В голове он услышал свой голос — собственный, взрослый, ливерпульский, — не ему, никому: «Не надо.»

Чего не надо, он не сказал.

Он повернулся на бок к стене, подтянул одеяло, прижал плечом к щеке. Через переборку, в соседнем кубрике, кто-то ещё плескался у раковины, кто-то засмеялся — короткий смех, одно «ха», без причины, просто отдых после боевой. Корабль гудел снизу, ровно, на пяти узлах, как ходит ночью «Hercules» в спокойном море, и в этом гуле, если очень слушать, на третьей гармонике, едва-едва, — ничего там не было. Гул и винты. Больше ничего.

Не слышал.

Так он пролежал до первой смены, не уснув.

## Глава 16. «Конвойный кризис»

*Февраль — апрель 1917 года. Лондон, Адмиралтейская арка.*

В понедельник двенадцатого февраля Хардкасл пришёл в восемь сорок две, как было заведено с октября. Эллиот в этот понедельник табличку «Не беспокоить» к двери не приколот, потому что Каули с утра предупредил: после восьми двадцати сегодня войдут трое — Хардкасл со сводкой за прошлую неделю, Холл со своими шестью колонками, и сам Каули с манометром в одиннадцать. Джеллико этому распорядку не возражал.

Туман над парком стоял прежний. Плотный, тяжёлый — такой, как стоял в первый понедельник февраля и в последний понедельник января, и какой стоял двадцать восьмого января, когда Джеллико возвращался из Скапы. Уголь горел не лучше прошлого. Эллиот клал газету под папку, обложкой вниз, по своей привычке. Заголовок третьей полосы шёл тот же, что в январе.

Хардкасл положил серую папку справа. Не сел.

— За первую неделю февраля — двенадцать судов, сэр Джон. Тридцать девять тысяч четыреста.

— Раскладка.

— Первая графа — пять. Вторая — три. Третья — одно. Четвёртая — два. Пятая — одно.

— Шестой нет.

— Шестой нет, сэр Джон.

— Хорошо.

Хардкасл козырнул правой, забрал свою вторую папку — для Холла — под левую руку, повернулся, ушёл. Эллиот закрыл за ним.

Лист с шестью колонками Холла за прошлую неделю Эллиот положил рядом со сводкой Хардкастла. На листе по второй и третьей колонкам стояли цифры, шедшие в декабре одна к одной с лагом в неделю. В феврале лаг закрылся — что в моргах принимали за неделю, к её концу уходило к погребению. Совпадение шло третью неделю подряд. Холл к новой неделе никаких комментариев не приложил.

Джеллико прочёл сводку Хардкастла один раз. Лист Холла — тоже один раз. В левой под указательным шла дрожь — прежняя, не сильнее. Каули в смежной перевернул страницу блокнота — двойной щелчок, одна строка с утра.

В одиннадцать Каули постучал. Манометр показал сто пятьдесят на восемьдесят пять. Каули записал. Ушёл.

\* \* \*

В понедельник двадцать шестого февраля туман сменился сухим морозом. Воздух перестал держать пелену. За окном кабинета над парком стояло небо — пустое, плоское, плотное по краю горизонта. Уголь горел чуть лучше — Эллиот привёз с Темзы новую партию, ту, что добывали под Дувром, и она шла в раскалённые угли быстрее.

Хардкасл вошёл с серой папкой в восемь сорок одну.

— За вторую неделю февраля — пятнадцать судов, сэр Джон. Сорок семь тысяч.

— Раскладка.

— Первая — шесть. Вторая — четыре. Третья — два. Четвёртая — два. Пятая — одно.

— А январский остаток?

— Закрыл, сэр Джон. По сводной за месяц — пятьдесят шесть судов, сто восемьдесят одна тысяча тонн. Прогноз Даффа на февраль был четыреста пятьдесят. К концу месяца — четыреста шестьдесят четыре.

— Хорошо.

— Сэр Джон.

— Капитан.

— Я открываю шестую графу. С прошлого четверга. Не из принципа — по необходимости. У меня лежит на отдельном листе четырнадцать рапортов, в которых ни одна из пяти не годится. Я их в общую сводку не включаю — держу под шестой. Если вы попросите — отдам отдельно.

— Не прошу.

— Хорошо, сэр Джон.

— Графу не закрывайте.

— Не закрою.

Хардкасл унёс свою вторую папку Холлу.

В пять минут десятого Эллиот принёс пакет из карантина. Свёрток той же формы, что и предыдущие, — кожаный том в замше, тёмно-зелёной, с тонкой чернильной полосой по верхнему краю по правилу карантина. Лютеровская Библия, седьмая. Эллиот свёрток развязал, бумагу снял, том положил в правый ящик, ящик закрыл.

— Сэр Джон.

— Эллиот.

— Капитан Холл просил передать прежнее. Том не открывать — он сам разберёт, когда вы будете готовы.

— Хорошо.

В одиннадцать Каули постучал. Манометр — сто пятьдесят два на восемьдесят семь. Каули записал. Не сказал ничего. Ушёл.

\* \* \*

В понедельник двенадцатого марта пришла оттепель. Туман вернулся, но другой — мокрый, лёгкий, не зимний. С Уайтхолла тянуло сырой шерстью и угольным дымом из пабов на углу с Парламентской. Уголь у пабов шёл лучше адмиралтейского — они выкупали остатки до эмбарго.

Сводка Хардкасла за первую неделю марта — двадцать судов, шестьдесят три тысячи тонн.

— Первая — восемь. Вторая — пять. Третья — три. Четвёртая — два. Пятая — два.

— Шестая.

— Семь рапортов под отдельным листом, сэр Джон.

— Хорошо.

К сводке Хардкасла Холл в этот понедельник прислал не лист, а записку. От руки, без герба Адмиралтейства, на четверти листа. Написана левой — у Холла под манжетой левой кисти лейкопластырь стоял с февраля, обновлялся через сутки. Джеллико знал по сводке Каули. Каули шёл по коридорам и отмечал свежесть пластыря. Записка — две строки:

*За неделю — добавьте в шестую колонку четыре. Хардкасл не знает.*

Подпись — Р. Х.

Джеллико записку прочёл, сложил вдвое, положил под пресс-папье — поверх сводки Хардкасла, под газету. Эллиоту не показал. Не всё.

Холл в этот понедельник в кабинете не появился. Хардкаслу записку Джеллико тоже не передал.

Восьмая Библия пришла в среду, четырнадцатого марта. Эллиот положил в ящик. Ящик не запирали — ключ лежал в верхнем сейфе, как и в декабре, как в январе, как в феврале.

В одиннадцать манометр показал сто пятьдесят пять на девяносто. Каули попросил выпить полстакана воды и пройтись по кабинету трижды, по три шага в одну сторону, по три — в другую. Джеллико прошёл. Прошёлся ещё раз — не для Каули, для себя. Вернулся к столу.

\* \* \*

В понедельник двадцать шестого марта Хардкасл за вторую и третью недели марта показал двадцать восемь и тридцать одно судно. Тоннаж за месяц — пятьсот семь тысяч.

Дафф давал на март пятьсот.

Дафф не ошибся в большую сторону на этот раз тоже.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Сравните март с февралём.

— Февраль четыреста шестьдесят четыре. Март — пятьсот семь. Прирост — сорок три тысячи. По темпу первой недели апреля Дафф даёт на апрель восемьсот плюс. На май — больше тысячи. На июнь — без верхней границы.

— Без верхней границы.

— Капитан Дафф так и пишет в подкладке к сводке: «дальше я не считаю, потому что переменная не прерывается».

Хардкасл положил серую папку на стол. Не унёс. Сегодня в первый раз в марте.

— Сэр Джон.

— Капитан.

— Я работаю восьмой год в министерстве. Потери торгового флота считаю с пятнадцатого года. До меня считали в Адмиралтействе, без отделения. Я этих цифр не видел в восьмом — мы тогда не теряли. В десятом — война ещё не пришла. В четырнадцатом мы держали пятьдесят-сто за квартал. Эту шкалу считают в Лондоне впервые. Я не знаю, как её считать.

Хардкасл сказал это тихо. Не жалуясь. Доложил.

— Считайте, как считали, капитан. Графы те же. Темп без верхней границы — у Даффа.

— Слушаюсь.

— Спасибо.

— Сэр Джон.

Хардкасл козырнул. Серую папку взял в правую. Не повернулся.

Джеллико это засёк.

С октября Хардкасл козырял и поворачивался в одну ноту — он за восемь лет в министерстве научил себя так уходить, что Эллиот в смежной не успевал встать со стула, прежде чем Хардкасл выходил в коридор. Сегодня — Хардкасл стоял. Серая папка под правую. Левая у бедра, прямая.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Что-то ещё?

— Сэр Джон. Если позволите. Не по сводке.

— Слушаю.

Хардкасл помолчал. Подобрал. Под левую руку папку перехватил.

— По дороге сюда я хожу мимо Сент-Мартина-в-полях. С декабря — каждое утро. У ограды на ступенях стоит женщина. Лет сорока, может, чуть меньше. В чёрном. Через плечо — табличка деревянная, в три колонки имена. Печатными буквами, выведенными кисточкой, не от руки. Двадцать восемь имён. Сверху над колонками: «HMS Audacious, ноябрь тысяча девятьсот шестнадцатого». Я её вижу с шестнадцатого декабря. Стоит каждое утро, в одно и то же время. Я мимо прохожу к восьми. Она к этому времени уже стоит.

Джеллико это слушал. Не пошевелился. Перо в правой держал у пресс-папье, не положил.

— Хорошо, капитан.

— Сэр Джон. Сегодня — двадцать шестое марта. Сто дней.

— Сто.

— Я сегодня впервые сосчитал. До этого — не считал.

— Хорошо.

— Я подходил один раз. В январе, через неделю после того, как пришла январская сводка по «Audacious» — нулевая, отдельной строкой. Я подошёл, спросил, кого она читает. Она мне назвала своего брата. Том Уитфилд, двадцать три года, кочегар первой котельной. Третий в левой колонке.

— Уитфилд.

— Уитфилд, сэр Джон. У меня его фамилия в архиве не идёт — низшие чины подшиваются у Кинга через военно-морское управление, у меня — суда. Я её записал у себя в блокноте. Не из принципа — для памяти.

— Хорошо, капитан.

— Сэр Джон. Я больше не подходил. Прохожу. Она стоит. Я кивну, она кивнёт. Так — каждое утро.

— Хорошо.

— Сегодня — сто дней.

— Сто.

Хардкасл стоял прямо. Папку под левой держал ровно.

— Сэр Джон. Я не знаю, к чему я это рассказываю. Я перед заходом сюда подумал — двадцать шестое марта, сто дней. Я её мимо прошёл сегодня в семь сорок три. Она была там же, где в декабре. Я подумал, что должен это сказать кому-то. Других кому-то у меня в министерстве нет. Простите, что — вам.

Джеллико перо положил. Не в чернильницу — на пресс-папье, рядом со сводкой за вторую и третью недели марта.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Скажите Эллиоту, чтобы внёс Тома Уитфилда в личный список. Под номером три тысячи триста двадцать.

Хардкасл сделал паузу — не флотскую, человеческую, неровную.

— Сэр Джон. Личный список — это...

— Тот, который у меня в подкладке шинели с июня шестнадцатого. Ютланд. Шесть тысяч девяносто четыре имени. С сегодняшнего — шесть тысяч девяносто пять.

Хардкасл смотрел на Джеллико. Сорок седьмого года рождения. Двадцать два года в министерстве. Он эту цифру в первый раз услышал — за восемь лет работы со сводками он Джеллико ни разу её не называл. У Хардкасла свой счёт — суда, тоннаж, графы. Шесть тысяч девяносто четыре имени человеческого счёта в подкладке адмиральской шинели — он не знал.

— Сэр Джон.

— Передайте Эллиоту. Он внесёт. Я подпишу левой к вечеру.

— Слушаюсь.

— И, капитан.

— Сэр Джон.

— У Уитфилда есть сестра. Сестра — без имени. Через приходскую книгу Сент-Мартина — узнаваема. Спросите у викария. Имя — Эллиоту в дополнение. Я ей напишу.

— Слушаюсь, сэр Джон.

— Не сегодня. На той неделе.

— Хорошо.

Хардкасл козырнул. Папку под левую перехватил. Повернулся. Вышел.

Эллиот закрыл за ним.

Девятая Библия пришла в четверг, двадцать девятого марта. Эллиот положил в ящик. Том лежал поверх восьмой, восьмая — поверх седьмой, седьмая — поверх шестой. Шесть Библий стало восемь, восемь — девять, без пропусков. Эллиот к тому времени перестал называть в коридоре по счёту: говорил «новый том от карантина». Джеллико кивал.

В одиннадцать манометр — сто шестьдесят на девяносто пять. Тремор левой к началу третьего часа держался дольше, чем держался к началу второго в феврале.

\* \* \*

В понедельник девятого апреля Хардкасл вошёл с серой папкой и одной непривычной деталью: в левой руке у него была не вторая папка для Холла, а узкая, в синем коленкоре, новая, без штампа.

— За первую неделю апреля — тридцать четыре судна, сэр Джон. Сто десять тысяч тонн.

— Раскладка.

— Первая — четырнадцать. Вторая — восемь. Третья — пять. Четвёртая — четыре. Пятая — три.

— Шестая.

— Под отдельным листом — двадцать два. Шестая графа открыта формально с прошлого понедельника, но я её в сводку не включал — держал, как держал в декабре. С сегодняшнего дня — включаю.

Хардкасл положил две папки в ряд: серую слева, синюю справа.

— Сэр Джон.

— Капитан.

— Шестая графа в сводной за неделю — двадцать два судна, шестьдесят семь тысяч тонн. К общему — сто десять плюс шестьдесят семь — сто семьдесят семь. На неделю.

— Сто семьдесят семь.

— Сто семьдесят семь.

Джеллико прочёл цифру второй раз, не поднимая глаз. Хардкасл стоял прямо. У него под левой рукой синяя папка чуть смещалась — он её придерживал не плотно. Не от усталости — Хардкасл так держал всё, что не хотел трогать дольше необходимого.

— Капитан. На что я смотрю в шестой?

— Я не имею названия, сэр Джон. Двадцать два судна за неделю, по которым ни одна из пяти не подходит. Часть — пустые корпуса, дрейф без экипажа, без признаков боя. Часть — на ходу, с машиной в работе, с пустыми палубами. Часть — затонувшие на ровном киле в спокойную погоду, без следа попадания. Часть — у которых на палубе записки с почерком, который не читается. Я их под пятью не размещаю, потому что в пяти есть, что определено, а здесь — нет.

— Хорошо.

— Сэр Джон. Я с вами хочу свериться.

— Сверяйтесь.

— Записки у меня в этой папке. Я их не показываю никому, кроме Холла. Холл их забрал в свою закрытую серию. Я хочу знать — закрывать ли мне у себя оригиналы.

— Не закрывайте.

— Слушаюсь.

— И в шестой не закрывайте графу.

— Не закрою, сэр Джон.

Хардкасл забрал синюю папку. Серую оставил. Унёс синюю Холлу.

Десятая Библия в этот понедельник не пришла. Карантин держал её в Дувре по дополнительному протоколу — Холл с прошлой недели поставил вторую печать на пакеты, потому что предыдущая Библия пришла с одной из пометок Шеера на полях, написанной не карандашом, а углём, — почерк Шеера. Холл отметил это в записке, которую передал Желлико через Эллиота, не лично. Записка короткая: *Карандаш кончился у адмирала. Это не повод задерживать. Я не задерживаю. Хочу, чтобы вы знали.*

Желлико записку сжёг — на каминной решётке, в углу справа, как сжигал в декабре черновики депеши. Зольную корку Эллиот в среду чистить не стал.

Манометр в одиннадцать — сто шестьдесят пять на сто. Каули в этот понедельник попросил пятнадцать минут. Желлико дал. Лежал в кресле у окна, глаза прикрыл, не спал. Каули считал пульс по запястью. Не записал.

\* \* \*

В понедельник двадцать третьего апреля Хардкасл вошёл в восемь тридцать восемь. На минуту раньше срока. Редкость — Хардкасл срок держал.

— Сэр Джон.

— Капитан.

— За третью неделю апреля — пятьдесят два судна. Двести тридцать четыре тысячи тонн. Шестая — двадцать восемь судов, восемьдесят восемь тысяч.

— Прогноз Даффа на апрель.

— Восемьсот семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят четыре, сэр Джон. К двадцать третьему апреля — у нас семьсот сорок одна тысяча. Дафф ошибся в большую сторону на полпроцента — не в большую, а в меньшую.

Желлико это услышал. Не поднял глаз.

Дафф ошибся в меньшую.

— Капитан.

— Сэр Джон.

— Военный Кабинет — в эту пятницу. Двадцать седьмого. Я доложу новую сводку.

— Я приготовлю к четвергу.

— Спасибо.

— Сэр Джон.

— Капитан.

— Я полагаю, что Кабинет одобрит конвои в эту пятницу.

— Я тоже полагаю.

— Хорошо.

— И ещё, капитан.

— Сэр Джон.

— Раскладку конвоев по защищаемым категориям — приготовьте отдельным листом. По первой — да. По четвёртой — да. По остальным — частично. Не больше.

— Я приготовлю.

— Спасибо.

Хардкасл козырнул. Серую папку оставил. Унёс синюю Холлу. Эллиот закрыл за ним.

Желлико остался один.

В правом ящике стола лежали девять томов в немецком переплёте. Каждые две недели зимы и весны — новый. Десятый ждал в Дувре под второй печатью карантина, потому что у Шеера кончился карандаш. Седьмая, восьмая, девятая лежали в стопке, не открытые, как и шесть до них. Ключ от ящика лежал на углу полки, в верхнем сейфе. Желлико ключ за этот сезон не брал.

В кабинете было тёмно по углам и светло только у окна. Свет апрельский шёл плоский, ровный, бесцветный. С парка тянуло мокрой землёй — дворники у Гайд-парка к понедельнику убрали последний снег с дорожек, грязь обнажилась. В Лондоне в апреле семнадцатого весны не пришло. Земля перестала быть белой — и всё.

Газета лежала под папкой обложкой вниз. Заголовок третьей полосы — тот же, что в декабре. Эллиот уголок на четверть дюйма отгибал по своей привычке.

Каули в смежной перевернул страницу. Сегодняшняя — двести десятая с двадцать восьмого ноября. Завтра — двести одиннадцатая.

Над парком стоял туман. Сегодня — низкий, не зимний, апрельский, мокрый. Спокойный.

\* \* \*

В среду одиннадцатого апреля — двенадцатью днями раньше — Военный Кабинет собрался на Даунинг-стрит, в тот же длинный зал, в котором Джеллико двадцать девятого января предъявил меморандум о специализированном вспомогательном составе. Камин шипел тем же углём, шкаф с лавандой стоял на той же стене, портрет короля над камином не подновили. За столом — те же пятеро. По правую руку Ллойд Джорджа — Бонар Лоу, по левую — Милнер, за Милнером — Керзон, с торца — Хендерсон. Хэнки рядом с Хендерсоном, секретарь, с открытой папкой и пером в правой.

Карсон сел сбоку, на приставной стол.

С сегодняшнего заседания — справа от Джеллико, в кресле, вдвинутом из коридора, — Дэвид Битти.

Битти вошёл за минуту до Джеллико. В адмиральской форме, в эполетах командующего Гранд-Флитом, с которыми с конца ноября ходил по «Queen Elizabeth». Высокий, длинноногий, в фуражке, сдвинутой набекрень по его флотской привычке, — снял на пороге зала и положил на угол стола. Лицо — то же, что Джеллико знал по двум десяткам докладов в его кабинете в Скапе и в Адмиралтейской арке: длинное, с тонким сухим ртом и глубокими носогубными складками, обветренное не к апрелю — Битти в марте провёл две недели в Розайте, на палубе, в ветре и солёных брызгах. Седина шла поверху равномерно. Сорок шесть лет.

Джеллико сел напротив Ллойда Джорджа, как полагалось. Битти по правую руку — у него в этом зале своё кресло появилось впервые. До сегодняшнего дня Кабинет Битти не вызывал.

Папку Джеллико положил по краю стола ровно. Битти папки не принёс — он держал в голове, говорил без бумаги. Старая флотская манера.

— Сэр Джон. — Ллойд Джордж не приветствовал. — Сэр Дэвид.

— Премьер.

— Премьер.

— Сводка апреля.

Джеллико не открывал папку — Хардкастл в четверг подавал её Хэнки, Хэнки клал в премьерский комплект. Премьер уже читал.

— На двадцать третье апреля — семьсот сорок одна тысяча тонн, премьер. На тридцатое будет восемьсот семьдесят плюс. По расчёту капитана Даффа.

— На пятнадцатое мая?

— Дафф сегодня даёт миллион плюс. На июнь — без верхней границы.

— Без верхней границы, — повторил Ллойд Джордж. Сказал это медленно. Бонар Лоу записал.

Премьер поднял глаза. На правый верхний карман шинели Джеллико — там у Джеллико с декабря лежал платок. Не сказал ничего. Перевёл взгляд на Битти.

— Сэр Дэвид. Адмирал Джеллико предлагает конвойную систему. Расчёт капитана Даффа лежит у меня в папке. Я его читал в субботу. По цифрам — система восстанавливает сорок-пятьдесят процентов потерь. По расчёту Даффа — конвои держат строй, тратят меньше эскорта, требуют от Адмиралтейства централизации, которой у вас сегодня нет. Это записка Даффа в кратком изложении. Адмирал Джеллико с ней согласен. Вы, как мне доложили, — нет.

Битти посмотрел на премьера. Держал паузу — одну тяжёлую секунду, в которой собиралась реплика. На «Queen Elizabeth» эту секунду на мостике подчинённые знали. В Кабинете её не знал никто, кроме Джеллико.

— Премьер. Я не согласен с конвоями по двум причинам.

Битти не сказал «расчёт ошибочен». Он не сказал «Дафф — счетовод». Сегодня он оставил это про себя.

— Первая. Конвои — это оборона. Гранд-Флит за тридцать лет своего существования атаковал, не оборонялся. Конвои изменяют дисциплину флота — то, что мы строили со времён Фишера. Двадцать лет училище в Дартмуте готовит офицеров атаковать. Если мы переходим на конвои — нам надо переписать учебники. У меня нет на это времени.

Бонар Лоу записал. Хэнки тоже.

— Вторая.

Битти держал паузу на ту самую тяжёлую секунду.

— Вторая — у конвоев нет цели. Конвои защищают торговые суда от атакующего противника. У меня нет атакующего противника, премьер. Хохзеефлотте нет — он сдался. У меня нет немецкого флота, который я бы топил, если бы он вышел из Брюгге, потому что Брюгге пуст. У меня нет Пола, потому что Пола пуста. У меня нет Киля, потому что Киль пуст. Даже если конвои восстановят сорок процентов — это против чего? Против пения, как пишет Хардкасл? Против рапортов, которых не подписывает Хардкасл? У меня нет противника. У меня есть корабли с орудиями — двенадцать дюймов. Что мне с ними делать?

Битти спросил это не у Кабинета. Реплика повисла.

Джеллико не ответил — вопрос был не к нему. Он подождал.

Бонар Лоу опустил перо. Милнер не двинулся. Керзон — сложил руки. Хендерсон — в стол.

— Сэр Дэвид. — Премьер сказал тихо. — У вас есть предложение?

— У меня есть предложение, премьер. Открытое патрулирование. Найти и уничтожить.

— Найти что, сэр Дэвид?

Это был вопрос Джеллико, а не премьера. Джеллико спросил тихо, в тон Битти, без подъёма. Сказал три слова. На «что» — ударение.

Битти повернул голову. Посмотрел на Джеллико. Долгая вторая секунда.

— Джон. — Битти сказал это по имени, не «сэр Джон». В Кабинете на Даунинг-стрит — не в Скапе и не на «Iron Duke». Сбой протокола. Хэнки записал «адмирал Битти», без «сэр».

— Найти что, Дэвид?

Имя на имя.

Битти не ответил. Долгая третья секунда.

Хэнки писал в эту секунду одно слово, нашёл нужное, записал, не зачеркнув.

— Я не знаю, Джон. — Битти сказал это негромко. В адрес Джеллико, не Кабинета. — Я не знаю, кто на нас нападает. Не знаю, откуда пришли. Не знаю, чего хотят. С континента почти ничего не доходит. Но вот что я знаю точно: идёт война. И не та, к которой мы готовились двадцать лет. Не за ресурсы. Не за землю. За то, останется ли Англия. А в обороне войны не выигрывают.

Премьер посмотрел в стол. Долго.

Бонар Лоу положил перо. Не записывал.

Карсон смотрел на Джеллико. Не двинулся, не сказал ничего. Брат Карсона на Сомме в июле — Карсон знал, о чём только что сказал Битти.

Милнер не двинулся тоже. Имперский проконсул, который сорок лет служил государству, которое подразумевало, что таких слов в Кабинете не произносят.

Хендерсон смотрел в стол перед собой. Сын в сентябре, на Сомме. Шестидесяти лет, в пиджаке вместо сюртука. Не встал и не возразил — лидер лейбористов в Кабинете консерваторов узнал в словах адмирала свой собственный сентябрь и промолчал.

Тишина шла секунд десять.

— Морис, — Ллойд Джордж не повернул головы. — Сегодня не решаем. Зафиксируйте: рассмотрение конвойной системы переносится на следующее заседание Кабинета. Двадцать седьмого. Адмирал Джеллико представит дополнительные расчёты по защищаемым категориям. Адмирал Битти — изложит соображения о патрулировании в письменной форме до двадцать пятого.

— Да, премьер. — Хэнки записал.

— Сэр Дэвид. — Премьер посмотрел на Битти. — До двадцать пятого. Изложите. Я не приму без письменного предложения.

— Слушаюсь, премьер.

Премьер встал. За ним — Бонар Лоу. Милнер. Керзон. Хендерсон вышел первым, не задержавшись. Карсон — следом за Хэнки, к двери. У двери Карсон посмотрел на Джеллико через плечо, без слов, кивнул. Джеллико кивнул в ответ.

В зале остались Джеллико и Битти.

\* \* \*

Хэнки прикрыл дверь.

Через камин шипело. Уголь сегодняшней горел не лучше январского.

Битти сел обратно — после премьеры он встал, как все, но сейчас опустился в своё кресло, придвинутое из коридора. Джеллико сидел напротив. На столе между ними — сводка Хардкастла, открытая на странице апреля.

— Джон.

— Дэвид.

— Я не напишу.

— Напишешь.

— Что я напишу, Джон? Я сказал в зале — пусть так и останется. На бумаге это пойдёт в архив, в копии секретарей, в пресс через неделю. Я не хочу, чтобы это лежало и покрывалось пылью.

— Премьер не примет без письменного заявления.

— Знаю.

— Запиши три абзаца. «Открытое патрулирование Северного моря между параллелями. Поиск целей. Стереть найденное.» В таких словах — для протокола. Я подпишу, как Первый Морской Лорд. Премьер примет.

Битти посмотрел на Джеллико.

— Ты подпишешь?

— Подпишу.

— Под то, что мы не назвали?

— Под то, что мы не назвали.

Битти не отвёл глаз. У него на правой щеке шёл бритвенный порез — мелкий, недельный.

— Джон. Я двадцать лет учился атаковать.

— Я знаю.

— Атаковать — единственное, что я умею. Защита не по моей части.

— Это значит, что Дафф был прав про конвои.

— Дафф — счетовод.

— Сейчас выигрывает счетовод.

Битти на это ничего не сказал. Подался вперед, налил себе из стеклянного графина на углу стола — графин с водой, не с виски, в Кабинете на Даунинг-стрит виски не подавали — выпил половину стакана, поставил.

— Джон.

— Дэвид.

— У меня в Розайте на стенке висит карта. Я её повесил в декабре. На карте красным — линии, по которым Хохзеефлотте мог бы прийти и надрать нам задницы. Я не стираю эти линии. Не хочу стирать. Я смотрю на эти линии перед сном, как смотрят на старую фотографию — где все живы.

Джеллико посмотрел на него.

— Сними карту.

— Не сниму.

— Сними.

— Джон. Я её повешу обратно.

Джеллико слабо улыбнулся и кивнул. Не настаивал.

В груди ниже правой ключицы такт пропустил один раз. Каули бы записал, если бы стоял рядом. Каули в Кабинетный зал не входил, ждал в прихожей. Джеллико это держал. Платок не доставал.

— Дэвид. Двадцать седьмого ты не голосуешь против.

— Я не голосую против.

— Ты пишешь записку — «открытое патрулирование» — для протокола. Кабинет одобряет конвои. Премьер ставит твою записку как дополнительную меру. Дафф получает свою систему. Ты получаешь свои патрули.

— И?

— И мы оба теряем половину.

Битти посмотрел на Джеллико. Долго. Без ответа.

— Половину, — сказал он наконец. Не как вопрос — как повтор слова, чтобы оно осело.

— Половину.

— А вторая половина?

— Вторая половина не закрывается ни конвоями, ни патрулями.

— Чем закрывается?

Джеллико подождал. Битти не торопил.

— Не закрывается, Дэвид.

Битти ничего не сказал. Налил себе ещё полстакана. Не выпил. Поставил.

В зале стояла та же тишина, что в Кабинете на Даунинг-стрит зимой 1916-го, когда Асквит уходил. Хэнки за дверью не двигался. Карсон в коридоре ждал Джеллико. У Карсона в портфеле — вторая папка. Сегодня не показывал, оставил на после.

— Джон.

— Дэвид.

— Я приму.

— Знаю.

— Я приму, потому что Англии нужно решение. Не потому, что Дафф прав.

— Понимаю.

— Это разные вещи.

— Я знаю, Дэвид.

Битти кивнул один раз. Допил стакан.

— Джон. Ты плохо выглядишь.

Битти сказал просто. Не извиняясь, не сглаживая. Встал.

— Взаимно, Дэвид.

Битти забрал фуражку с угла стола. Подошёл к двери. У двери остановился. Не обернулся.

— Джон. Один вопрос.

— Слушаю.

— Ты веришь, что мы можем победить?

Джеллико ответил после паузы.

— Я не знаю, Дэвид. Допускаю.

Битти кивнул. Не оборачиваясь. Открыл дверь, вышел. Хэнки за дверью пропустил его, не заговорив.

Джеллико остался в зале один.

Камин шипел.

Через две минуты Хэнки вошёл — забрать сводку Хардкастла и записку Даффа, которые лежали на столе. Премьерскую папку он унёс в свой кабинет. Сводку Хардкастла — обратно к Джеллико, на стол. В премьерском комплекте оригинал, у Джеллико — дубликат.

— Сэр Джон.

— Морис.

— Двадцать седьмого утром в одиннадцать. С вас и записка адмирала Битти.

— Будет.

— Сэр Джон.

— Морис.

— Я записал «адмирал Битти», без «сэр», в момент, когда он назвал вас по имени. По регламенту — «сэр Дэвид». Записал так — для себя.

— Записывайте.

— Хорошо, сэр Джон.

Хэнки закрыл свою папку. Не уходил.

— Что-то ещё, Морис?

— Сэр Джон. На обратной стороне записки Даффа я подложил один лист. Это не от премьера. Это от меня лично. Прочитайте, когда будете один.

Джеллико кивнул.

Хэнки повернулся, ушёл. Дверь закрыл.

\* \* \*

В коридоре Каули встал со стула. Шинель Джеллико держал на согнутой руке. Карсон у дальнего окна. Не подошёл — ждал.

В кабинете в Адмиралтейской арке Джеллико сел за стол. Эллиот премьерскую папку распаковал сам — Хэнки её передал по дороге.

На обратной стороне записки Даффа лежал один лист. Маленький, на четверть, написанный рукой Хэнки, синими чернилами.

*Сэр Джон. Сегодня я смотрел на адмирала Битти и вспомнил вас в декабре девятьсот шестнадцатого, в первой аудиенции после возвращения из Скапы. Тогда вы тоже не нашли цели. Сейчас он не находит. У него четырнадцать дней. У вас был один вечер — вы написали письмо царю. У вас получилось. Я держу за вас обоих.*

*М. Х.*

Джеллико прочёл. Сложил вдвое. Положил на каминную решётку. В угол справа.

Поджѐг от каминной свечи.

Бумага потемнела, свернулась, обуглилась.

Джеллико постоял у камина минуту. Не сажился. Каули в смежной — не входил.

Газета на столе лежала обложкой вниз. Сегодняшний заголовок третьей полосы — «Железный адмирал держит линию», тот же, что в декабре, в январе, в феврале, в марте, в апреле. Эллиот уголок отгибал на четверть дюйма по своей привычке.

Над парком стоял туман. Низкий, не зимний — апрельский. Не сдвигался.

В правом ящике стола лежали девять томов в немецком переплѐте. Ключ от ящика лежал на углу полки в верхнем сейфе.

До двадцать седьмого апреля оставалось шестнадцать дней.

\* \* \*

*Апрель 1917 года. Лондон, Адмиралтейская арка.*

В четверг двенадцатого апреля Холл пришѐл сам, без вызова, в восемь сорок семь. Эллиот доложил из коридора костяшкой по двери, открыл, отступил.

— Сэр Джон.

— Реджинальд.

Холл вошѐл. По-прежнему в шинели — апрель был мокрый, в шкаф её Холл убирать не спешил. На левой кисти под манжетой стоял свежий лейкопластырь, белый по белому, недавно. Свежий — значит сменил утром, значит ночью что-то вскрылось снова. Джеллико это отметил без формулировки. В кабинете Холл шинель снимать перестал в декабре.

В правой у Холла — одна папка. Не служебная — личная, узкая, в чѐрной коже, с медной застѐжкой. Та же, в которой он принѐс шесть колонок в феврале. Сегодня в ней — один предмет. Джеллико это видел по тому, как Холл держал папку — вес распределялся неравномерно, плотный угол снизу.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.